

Козел отпущения

Автор:

[Дафна Дюморье](#)

Козел отпущения

Дафна Дюморье

Азбука-классика

Уже несколько десятилетий книги известной английской писательницы Дафны Дю Морье (1907 – 1989) пользуются огромным успехом во всем мире.

Писательница – мастер психологического портрета и увлекательного, захватывающего сюжета – создает в своих произведениях таинственную, напряженную атмосферу. За свою долгую жизнь она написала множество романов, рассказов, несколько пьес и эссе.

Роман "Козел отпущения" по праву считается одним из лучших ее произведений, в котором глубокий психологизм сочетается с потрясающим лиризмом.

Невероятная, почти нереальная сюжетная завязка дает автору возможность представить традиционный на первый взгляд семейный роман в неожиданном и драматичном освещении. Главный герой – англичанин, преподаватель университета – путешествует по Франции. В ресторане он встречает своего двойника – француза, владельца поместья и стекольного завода. И вот одному из них приходит в голову сумасшедшая идея – поменяться местами, а точнее, жизнями.

Дафна Дюморье

Козел отпущения

Daphne du Maurier

THE SCAPEGOAT

Copyright © Daphne du Maurier, 1957

All rights reserved

This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC

© Г. Островская (наследники), перевод, 2016

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА

Глава 1

Я оставил машину у собора и спустился по ступеням на площадь Якобинцев. Дождь по-прежнему лил как из ведра. Он не прекращался с самого Тура, и единственное, что я мог увидеть в этих любимых мною местах, было блестящее полотно route nationale[1 - Шоссе первой категории (фр.)], пересекаемое мерными взмахами «дворника».

Когда я подъехал к Ле-Ману, хандра, овладевшая мной за последние сутки, еще более обострилась. Это было неизбежно, как всегда в последние дни отпуска, но сейчас я сильнее, чем раньше, ощущал бег времени, и не потому, что дни мои были слишком наполнены, а потому, что я не успел ничего достичь. Не спору, заметки для моих будущих лекций в осенний семестр были достаточно профессиональными, с точными датами и фактами, которые впоследствии я

облеку в слова, способные вызвать проблеск мысли в вялых умах невнимательных студентов. Но даже если мне удастся удержать их затухающий интерес на короткие полчаса, я все равно буду знать, закончив лекцию, что все сказанное мной ничего не стоит, что я показал им ярко раскрашенные картинки, восковых кукол, марионеток, участвующих в шарадах, и только. Истинный смысл истории ускользал от меня, потому что я никогда не был близок к живым людям. Куда легче было погрузиться в прошлое, наполовину реальное, наполовину созданное воображением, и закрыть глаза на настоящее. В Туре, Блуа, Орлеане – городах, которые я знал лучше других, – я отдавался во власть фантазии: видел другие стены, другие, прежние, улицы, сверкающие фасады домов, на которых теперь крошилась кладка; они были для меня более живыми, чем любое современное здание, на которое падал мой взгляд, в их тени я чувствовал себя под защитой, а жесткий свет реальности обнажал мои сомнения и страхи.

Когда в Блуа я дотрагивался до темных от копоти стен загородного замка, тысячи людей могли страдать и томиться в какой-нибудь сотне шагов оттуда – я их не замечал. Ведь рядом со мной стоял Генрих III, надушенный, весь в брильянтах: бархатной перчаткой он слегка касался моего плеча, а на сгибе локтя у него, точно дитя, сидела болонка; я видел его вероломное, хитрое, женоподобное и все же обольстительное лицо явственней, чем глупую физиономию стоящего возле меня туриста, который рылся в кармане в поисках конфеты, в то время как я ждал, что вот-вот прозвучат шаги, раздастся крик и герцог де Гиз замертво упадет на землю. В Орлеане я скакал рядом с Девой или вместо Бастарда поддерживал стремя, когда она садилась на боевого коня, и слышал лязг оружия, крики и низкий перезвон колоколов. Я мог даже стоять подле нее на коленях в ожидании Божественных Голосов, но до меня доносились лишь их отголоски, сами Голоса слышать мне было не дано. Я выходил, спотыкаясь, из храма, глядя, как эта девушка в облике юноши с чистыми глазами фанатика уходит в свой невидимый для нас мир, и тут же меня вышвыривало в настоящее, где Дева была всего лишь статуя, я – средней руки историк, а Франция – страна, ради спасения которой она умерла, – родина ныне живущих мужчин и женщин, которых я и не пытался понять.

Утром, при выезде из Тура, мое недовольство лекциями, которые мне предстояло читать в Лондоне, и сознание того, что не только во Франции, но и в Англии я всегда был сторонним наблюдателем, никогда не делил с людьми их горе и радости, нагнало на меня беспросветную хандру, ставшую еще тяжелее из-за дождя, секущего стекла машины; поэтому, подъезжая к Ле-Ману, я, хоть раньше не собирался делать там остановку и перекусывать, изменил свои планы, надеясь, что изменится к лучшему и мое настроение.

Был рыночный день, и на площади Якобинцев, у самых ступеней, ведущих к собору, стояли в ряд грузовики и повозки с зеленым брезентовым верхом, а все остальное пространство было заставлено прилавками и ларьками. В тот день был, видимо, особенно большой торг, так как повсюду толпились во множестве сельские жители, а в воздухе носился тот особый, ни с чем не сравнимый запах – смесь флоры и фауны, – который издает только земля, красно-коричневая, унавоженная, влажная, и дымящиеся, набитые до отказа загоны, где тревожно топчутся на месте друзья по неволе – коровы, телята и овцы. Трое мужчин острыми вилами подгоняли вола к грузовику, стоявшему рядом с моей машиной. Бедное животное мычало, мотало из стороны в сторону головой, туго обвязанной веревкой, и пятилось от грузовика, переполненного его хрипящими и фыркающими от страха собратьями. Я видел, как вспыхнули красные искры в его оторопелых глазах, когда один из мужчин вонзил ему в бок вилы.

Перед открытой повозкой пререкались две женщины в черных шالях, одна из них держала за ногу квохчущую курицу, та протестующе била крыльями по высокой плетеной корзине с яблоками, на которую облокотилась ее хозяйка. К ним нетвердой походкой направлялся огромный кряжистый мужчина в коричневой вельветовой куртке с багровым лицом и мутным взглядом от обильного угощения в соседнем бистро. Глядя на монеты у себя на ладони, он что-то бурчал – их было меньше, чем он думал, слишком мало; видно, он обсчитался за этот час, что провел в жаркой комнате, пропахшей потом и табаком, откуда он теперь возвращался для перекуров с женой и матерью. Я легко мог представить его ферму, которой он владел всю свою жизнь, как и отец до него, в двух километрах от шоссе по песчаной проселочной дороге в колдобинах и рытвинах; низкий дом светло-желтого цвета с черепичной крышей и службы – расплывчатое пятно на фоне плоских коричневых полей, где ряд за рядом лежат кучи круглых и плотных тыкв, оранжево-розовых или зеленых, как листья липы, оставленных здесь до зимы, когда они высохнут и пойдут в корм скоту или на суп самим обитателям фермы.

Я обогнул грузовик и пошел через площадь в brasserie[2 - Кафе (фр.)] на углу; внезапно сквозь просветы на небе брызнуло бледное солнце, и все, кто был на площади, – безликие черные кляксы, похожие на ворон, – стали цветными каплями ртути: они улыбались, жестикулировали, расхаживали не спеша по своим делам, а серая пелена над головой все расползлась и расползлась, пока день из хмурого не стал золотым.

В ресторане яблоку негде было упасть; приятно пахло едой – супом, острой и пикантной подливкой, сыром, пролитым вином, горькой кофейной гущей – и удушливо несло сыростью от подсыхающих пальто и курток; зал тонул в голубом облаке сигарет «Голуаз».

Я нашел место в дальнем углу возле двери в кухню, и, пока ел горячий, сытный, тонувший в соусе из зелени омлет, створки двери распахивались то вперед, то назад от нетерпеливого толчка официанта с тяжелым подносом в руках, где высились одна на другой тарелки. Сперва это зрелище подстегивало мой аппетит, но затем, когда я утолил голод, это стало вызывать тошноту – слишком много тарелок картофеля, слишком много свиных отбивных. Когда я попросил принести кофе, моя соседка по столу все еще отправляла в рот бобы; она плакалась сестре на дороговизну жизни, не обращая внимания на бледненькую девочку на коленях у мужа, которая просилась в туалет. Она болтала без умолку, и чем больше я слушал – единственный доступный мне отдых в те редкие минуты, когда я выбрасывал из головы историю, – тем сильнее грызла меня притихшая было хандра. Я был чужак. Я не входил в их число. Годы учебы, годы работы, легкость, с которой я говорил на их языке, преподавал их историю, разбирался в их культуре, ни на йоту не приблизили меня к живым людям. Я был слишком не уверен в себе, слишком сдержан и сам это ощущал. Познания мои были книжными, а повседневный жизненный опыт – поверхностным, он давал мне те крупички, те жалкие обрывки сведений, что подбирает в чужой стране турист. Я страстно стремился к людям, жаждал их узнать. Запах земли, поблескивание мокрых дорог, выцветшая краска на ставнях, заслоняющих окна, в которые я никогда не загляну, серые фасады домов, двери которых для меня закрыты, служили вечным укором, они напоминали мне о расстоянии между ними и мной, о моей национальности. Другие, возможно, ворвутся сюда силой, разрушат разделяющий нас барьер, другие, но не я. Я никогда не стану французом, не стану одним из них.

Семья, сидевшая за моим столиком, встала и ушла, шум стих, дым поредел, и хозяин с женой сели перекусить позади прилавка. Я расплатился и вышел. Я бродил бесцельно по улицам, и моя праздность, перебегающий с предмета на предмет взгляд, сама одежда моя – серые брюки из шерстяной фланели, изрядно выношенный за долгие годы твидовый пиджак – выдавали во мне англичанина, затесавшегося в базарный день в толпу местных жителей в захолустном городке. Все они – и крестьяне, торгующиеся среди связок подбитых гвоздями сапог, фартуков в черно-белую крапинку, плетеных домашних туфель, кастрюль и зонтов; идущие под ручку хохочущие девушки, только что из парикмахерской, кудрявые, как барашки; и старухи, которые то и

дело останавливались, подсчитывая что-то в уме, качали головой, глядя на цену, скажем, камчатных скатертей, и брели дальше, ничего не купив; и юноши в бордовых костюмах, с иссиня-серыми подбородками, с неизбежной сигаретой в углу рта, которые пялили глаза на девушек, подталкивая друг друга локтем, – все они, когда окончится этот день, вернутся в свои родные места – домой. Безмолвные поля вокруг, и мычание скота, и туман, поднимающийся с размокшей земли, и кухня с тучами мух, и кошка, лакающая молоко под колыбелью, – все это принадлежит им, привычное, как ворчливый голос бабушки и тяжелая поступь ее сына, идущего на грязный двор с ведром в руке.

А я – неважно когда – регистрируюсь в очередном незнакомом отеле, где меня примут за француза, пока я не предъявлю паспорт; тут последуют поклон, улыбка, любезные слова, и сожалеюще, слегка пожимая плечами, портье скажет: «У нас сейчас почти никто не живет. Сезон закончился. Весь отель в вашем распоряжении», подразумевая, что я, естественно, жажду окунуться в толпу моих энергичных соотечественников с «кодаками» в руках, меняться с ними снимками, брать займы книжки, одалживать им «Дейли мейл». И никогда эти служащие отеля, где я провел ночь, не узнают, как не знают этого те, кого я сейчас обгоняю на улице, что не нужны мне мои соотечественники, тягостно и собственное мое общество, что, напротив, хотел бы я – недоступное для меня счастье – чувствовать себя одним из них, вырасти и выучиться с ними вместе, быть связанным с ними узами родства и крови, узами, которые для них понятны и правомерны, чтобы, живя среди них, я мог делить с ними радость, постигать глубину их горя и преломлять с ними хлеб – не подачка чужаку, а общий, их и мой, хлеб.

Я продолжал идти вперед; снова стал моросить дождь, люди набились в магазины или пытались укрыться в автомобилях. В провинции не разгуливают под дождем, разве что идут по делу, как вон те мужчины в широкополых фетровых шляпах, которые с серьезным видом спешат в prefecture [3 - Префектура (фр.)] с портфелем под мышкой, в то время как я нерешительно топчусь на углу площади Аристида Бриана, прежде чем зайти в церковь Пресвятой Девы неподалеку от префектуры. В соборе было пусто, я заметил лишь одну старуху с бусинами слез в широко раскрытых неподвижных глазах; немного погодя в боковой придел, стуча каблучками, вошла девушка и зажгла свечу перед белой до голубизны статуей. И тут, словно темная пучина поглотила мой рассудок, я почувствовал: если я не напьюсь сегодня, я умру. Насколько важно то, что я потерпел фиаско? Не моему окружению, моему миру, не тем немногим друзьям, которые думают, будто знают меня, не тем, кто дает мне работу, не студентам, которые слушают мои лекции, не служащим в Британском

музее, которые любезно говорят мне «доброе утро» или «добрый день», и не тем благовоспитанным, благожелательным, но до чего же скучным лондонским теням, среди которых живет и добывает свое пропитание законопослушный, тихий, педантичный и чопорный индивидуум тридцати восьми лет. Нет, не им, а моей внутренней сущности, моему «я», которое настойчиво требует освобождения. Как оно посмотрит на мою жалкую жизнь?

Кто оно, это существо, и откуда оно взялось, какие желания, какие стремления обуревают его – этого я сказать не мог. Я так привык его обуздывать, что не знал его повадок; возможно, у него холодное сердце, язвительный смех, вспыльчивый характер и дерзкий язык. Не оно живет в однокомнатной, заваленной книгами квартире, не оно просыпается каждое утро, зная, что у него ничего нет – ни семьи, ни родных и близких, ни друзей, ни интересов, которые поглощали бы его целиком, ничего, что могло бы служить жизненной целью или якорем спасения, ничего, кроме увлечения французской историей и французским языком, которое – по счастливой случайности – позволяет как-то зарабатывать на хлеб.

Возможно, если бы я не держал его взаперти в моей грудной клетке, оно бы хохотало, бесчинствовало, дралось и лгало. Возможно, оно бы страдало, возможно, ненавидело бы, возможно, ни к кому не проявляло бы милосердия. Оно могло бы красть, убивать... или отдавать все силы борьбе за благородное, хотя и безнадежное дело, могло бы любить человечество и исповедовать веру, утверждающую равно божественность Всевышнего и людей. Какова бы ни была его природа, оно ожидало своего часа, укрывшись под бесцветным обличем того бледного человека, что сидел сейчас в церкви Пресвятой Девы, ожидая, когда утихнет дождь, завершится день, подойдет к predeterminedенному концу отпуск, наступит осень и его вновь еще на один год, еще на один промежуток времени возьмет в плен повседневная рутина его обычной, бедной событиями лондонской жизни. Вопрос был в том, как отпереть дверь. Каким способом освободить того, другого? Я не видел ответа... разве что выпить бутылку вина в кафе на углу перед тем, как сесть в машину и двинуться на север, – это затуманит сознание, притупит чувства и принесет временное облегчение. Здесь, в пустой церкви, была иная возможность – молитва. Молиться, но о чем? О том, чтобы собраться с духом и выполнить пока еще нетвердое намерение поехать в монастырь траппистов в надежде, что там научат, как смириться с фиаско... Старуха тяжело встала с места и, сунув четки в карман, направилась к выходу. Слез на ее глазах больше не было, но оттого ли, что она нашла здесь утешение, или они просто высохли, я сказать не мог. Я подумал о *carte michelin*[4 - Дорожная карта (фр.)], лежавшей в машине, и отмеченном синим кружком

монастыре траппистов. Зачем я его обвел? На что надеялся? Отважусь ли я позвонить в дверь того дома, куда они помещают приезжих? Возможно, у них есть ответ на мой вопрос и на вопрос того, кто живет во мне...

Я вышел из церкви следом за старухой. Мне вдруг захотелось узнать, не больна ли она, или недавно овдовела, а может быть, у нее умирает сын, и принесла ли ей молитва надежду, но когда я боязливо подошел к ней – она все еще что-то бормотала, – старуха заключила по моему неуверенному виду, что я турист и хочу дать ей милостыню; оглянувшись по сторонам, она протянула ладонь, и, презирая сам себя за скупость, я вложил в нее двести франков, а затем поспешил оставить ее, освободившись от чар.

Дождь перестал. Небо перечеркивали красные ленты, блестели мокрые мостовые. Ехали на велосипедах люди – возвращались с работы. Темный дым из фабричных труб промышленного района казался черным и мрачным на фоне умытого неба.

Оставив позади магазины и бульвары, я шел под хмурыми взглядами высоких серых домов и фабричных стен по улицам, которые, казалось, никуда не вели, заканчиваясь тупиком или образуя кольцо. Было ясно, что я сбился с пути. Я понимал, что веду себя глупо: надо было найти свою машину и снять на ночь номер в одном из отелей в центре города или покинуть Ле-Ман и поехать через Мортань в монастырь траппистов. Но тут я увидел перед собой железнодорожный вокзал и вспомнил, что собор, возле которого стоит моя машина, находится на противоположном конце города. Самым естественным было взять такси и вернуться, но прежде всего надо было выпить чего-нибудь в станционном буфете и прийти к какому-то решению. Я стал переходить улицу; чья-то машина резко свернула в сторону, чтобы не наехать на меня, затем остановилась. Водитель высунулся в окно и закричал по-французски:

– Привет, Жан! Когда вы вернулись?

Меня зовут Джон. Это меня подвело. Я подумал, что человека этого я, вероятно, где-то встречал и должен бы помнить. Поэтому я ответил, тоже по-французски, ломая голову, кто бы это мог быть:

– Я здесь проездом... сегодня вечером еду дальше.

- Зряшная поездка, да? - спросил он. - А дома небось скажете, что добились успеха?

Замечание было оскорбительным. Почему это он решил, что я зря провел отпуск? И как, ради всего святого, он догадался о моем затаенном чувстве, будто я потерпел фиаско?

И тут я понял, что человек этот мне незнаком. Я никогда в жизни не сталкивался с ним. Я вежливо ему поклонился и попросил извинить меня.

- Прошу прощения, - сказал я, - боюсь, мы оба ошиблись.

К моему удивлению, он расхохотался, выразительно подмигнул и сказал:

- Ладно, ладно, я вас не видел. Но зачем заниматься здесь тем, что куда лучше делать в Париже? Расскажите мне при следующей встрече в воскресенье.

Он включил зажигание и, не переставая смеяться, поехал дальше.

Когда он исчез из виду, я повернулся и вошел в станционный буфет. Скорей всего, он выпил и был в веселом настроении; не мне его осуждать, я и сам последую сейчас его примеру. Буфет был полон. Только что прибывшие пассажиры сидели бок о бок с теми, кто ожидал посадки. Стоял сплошной гул. Я с трудом пробрался к стойке. Чей-то чемодан поцарапал мне ногу. Раздавались свистки, оглушающий рев приближающегося экспресса заглушил пыхтение местного паровичка, лаяли привокзальные собаки, плакал ребенок. Я с вожделением думал о своей машине, стоявшей у собора, о том, как буду сидеть там в тишине с дорожной картой на коленях и курить сигарету.

Кто-то задел мой локоть в то время, как я пил, и сказал:

- Je vous demande pardon[5 - Прошу прощения (фр.)].

Я отодвинулся, чтобы ему было свободней, он обернулся, взглянул на меня, и, глядя в ответ на него, я осознал с изумлением, страхом и странной гадливостью, которые слились воедино, что его лицо и голос были мне прекрасно знакомы.

Я смотрел на самого себя.

Глава 2

Мы оба молчали, продолжая пристально смотреть друг на друга. Я слышал, что такое бывает: люди случайно встречаются и оказываются родственниками, давно потерявшими друг друга, или близнецами, которых разлучили при рождении; это может вызвать смех, а может преисполнить печали, как мысль о Человеке в железной маске.

Но сейчас мне не было ни смешно, ни грустно – у меня засосало под ложечкой. Наше сходство вызвало в памяти те случаи, когда я неожиданно встречался в витрине магазина со своим отражением и оно казалось нелепой карикатурой на то, каким в своем тщеславии я видел сам себя. Это задевало, отрезвляло меня, обливало холодной водой мое эго, но у меня никогда при этом не ползали, как сейчас, по спине мурашки, не возникало желания повернуться и убежать.

Первым нарушил молчание мой двойник:

– Вы, случаем, не дьявол?

– Могу спросить вас о том же, – ответил я.

– Минутку...

Он взял меня за руку и подтолкнул ближе к стойке; хотя зеркало позади нее запотело и местами его заслоняли бутылки и стаканы и надо было искать себя среди множества других голов, на его поверхности ясно были видны наши отражения – мы стояли неестественно вытянувшись, затаив дыхание, и со страхом всматривались в стекло, словно от того, что оно скажет, зависит сама наша жизнь. И в ответ видели не случайное внешнее сходство, которое тут же исчезнет из-за разного цвета глаз или волос, различия черт, выражения лица, роста или ширины плеч; нет, казалось, перед нами стоит один человек.

Он заговорил – и даже интонации его были моими:

– Я поставил себе за правило ничему не удивляться; нет причин делать из него исключения. Что будете пить?

Мне было все равно, на меня нашел столбняк. Он заказал две порции коньяка. Не сговариваясь, мы подвинулись к дальнему концу стойки, где зеркало было не таким мутным, а толпа пассажиров не такой густой.

Словно актеры, изучающие свой грим, мы переводили глаза то на зеркало, то друг на друга. Он улыбнулся, я тоже, он нахмурился, я скопировал его, вернее, самого себя, он поправил галстук, я поправил галстук, и мы оба опрокинули в рот рюмки, чтобы посмотреть, как мы выглядим, когда пьем.

– Вы богатый человек? – спросил он.

– Нет, – сказал я. – А что?

– Мы могли бы разыграть номер в цирке или сколотить мильон в кабаре. Если ваш поезд еще не скоро, давайте выпьем еще.

Он повторил заказ. Никто не удивлялся нашему сходству.

– Все думают, что вы мой близнец и приехали на станцию меня встретить, – сказал он. – Возможно, так и есть. Откуда вы?

– Из Лондона, – сказал я.

– Что у вас там? Дела?

– Нет, я там живу. И работаю.

– Я спрашиваю: где вы родились? В какой части Франции?

Только тут я догадался, что он принял меня за своего соотечественника.

– Я англичанин, – сказал я, – так вышло, что я серьезно изучал ваш язык.

Он поднял брови.

- Примите мои поздравления, - сказал он, - я бы ни за что не подумал, что вы иностранец. Что вы делаете в Ле-Мане?

Я объяснил ему, что у меня сейчас последние дни отпуска, и коротко описал свое путешествие. Я сказал, что я историк и читаю в Англии лекции о его стране и ее прошлом.

Казалось, это его позабавило.

- И таким способом зарабатываете на жизнь?

- Да.

- Невероятно, - сказал он, протягивая мне сигарету.

- Но здесь у вас есть немало историков, которые делают то же самое, - запротестовал я. - По правде говоря, в вашей стране к образованию относятся куда серьезней, чем в Англии. Во Франции есть сотни преподавателей, читающих лекции по истории.

- Естественно, - сказал он, - но все они французы, и говорят они о своей родине. Они не пересекают Ла-Манш, чтобы провести отпуск в Англии, а затем вернуться сюда и читать о ней лекции. Я не понимаю, чем вас так заинтересовала наша страна. Вам хорошо платят?

- Не особенно.

- Вы женаты?

- Нет, у меня нет семьи. Я живу один.

- Счастливчик! - воскликнул он и поднял рюмку. - За вашу свободу, - сказал он. - Да не будет ей конца!

– А вы? – спросил я.

– Я? – сказал он. – О, меня вполне можно назвать семейным человеком. Весьма, весьма семейным, говоря по правде. Меня поймали давным-давно. И должен признаться, вырваться мне не удалось ни разу. Разве что во время войны.

– Вы бизнесмен? – спросил я.

– Владею кое-каким имуществом. Живу в тридцати километрах отсюда. Вы бывали в Сарте?

– Я лучше знаю страну к югу от Луары. Мне бы хотелось познакомиться с Сартром, но я направляюсь на север. Придется отложить до другого раза.

– Жаль. Было бы забавно... – Он не кончил фразы и вперился в свою рюмку. – У вас есть машина?

– Да, я оставил ее возле собора. Я заблудился, пока бродил по городу. Вот почему я здесь.

– Останетесь ночевать в Ле-Мане?

– Еще не решил. Не собирался. По правде сказать... – Я приостановился. От коньяка у меня в груди было тепло и приятно, да и какая важность – откроюсь я перед ним или нет, ведь я говорю сам с собой... – По правде сказать, я думал провести несколько дней в монастыре траппистов.

– Монастыре траппистов? – повторил он. – Вы имеете в виду цистерцианский монастырь неподалеку от Мортаня?

– Да, – сказал я. – Километров восемьдесят отсюда, не больше.

– Боже милостивый, зачем?

Он попал в самую точку. За тем же, за чем туда стремятся все остальные, – за милостью Божией. Во всяком случае, так я полагал.

- Я подумал, если я поживу там немного перед тем, как вернуться в Англию, - сказал я, - это даст мне мужество жить дальше.

Он внимательно смотрел на меня, потягивая коньяк.

- Что вас тревожит? - спросил он. - Женщина?

- Нет, - сказал я.

- Деньги?

- Нет.

- Попали в передрагу?

- Нет.

- У вас рак?

- Нет.

Он пожал плечами.

- Может быть, вы алкоголик, - сказал он, - или гомосексуалист? Или любите огорчения ради них самих? Плохи, должно быть, ваши дела, если вы хотите ехать к траппистам.

Я снова взглянул в зеркало поверх его головы. Сейчас впервые я заметил разницу между нами. Отличала нас не одежда - его темный дорожный костюм и мой твидовый пиджак, а непринужденность, с которой он держался, - ничего общего с моей скованностью. Я никогда так не смотрел, не говорил, не улыбался, как он.

- Дела мои в порядке, - сказал я, - просто я как личность потерпел в жизни фиаско.

– Как и все остальные, – сказал он, – вы, я, все эти люди здесь, в буфете. Все мы до одного потерпели фиаско. Секрет в том, чтобы осознать этот факт как можно раньше и примириться с ним. Тогда это больше не имеет значения.

– Имеет, и еще какое, – сказал я, – и я не примирился.

Он прикончил коньяк и взглянул на стенные часы.

– Вам вовсе не обязательно, – заметил он, – немедленно отправляться в монастырь. Перед добрыми монахами вечность, что им стоит подождать вас каких-то несколько часов. Давайте переберемся туда, где сможем пить с бо?льшим удобством, а может быть, и пообедаем; будучи семейным человеком, я не стремлюсь домой.

Только теперь я вспомнил о незнакомце в машине, который окликнул меня на улице.

– Вас зовут Жан? – спросил я.

– Да, – сказал он. – Жан де Ге. А что?

– Кто-то принял меня за вас, тут, у вокзала. Какой-то субъект в машине окликнул меня. «Привет, Жан!» – крикнул он, а когда я сказал, что он ошибся, это, похоже, позабавило его: он подумал, что я – вернее, вы – не хочу, чтобы меня узнали.

– Ничего удивительного. Что вы сделали?

– Ничего. Он со смехом отъехал и крикнул, что мы увидимся в воскресенье.

– О да. *La chasse*...[б - Охота, травля (фр.).]

Мои слова, видимо, направили его мысли в новое русло, так как выражение его лица изменилось – хотел бы я узнать, что у него на уме, – голубые глаза подернулись непроницаемой пеленой, и я спросил себя: я тоже так выгляжу, когда какой-нибудь трудный вопрос всплывает из глубин моего сознания?

Он кивнул носильщику, терпеливо ожидающему с двумя чемоданами в руках за дверьми буфета.

- Вы сказали, что оставили машину у собора? - спросил он.

- Да.

- Тогда, если у вас найдется в ней место для моих чемоданов, мы можем вернуться туда и поехать куда-нибудь пообедать.

- Разумеется. Куда вам будет угодно.

Он расплатился с носильщиком, подзвал такси, и мы отъехали от вокзала. Это было похоже на странный сон. Как часто во сне я, тень, смотрел на самого себя, участвующего в призрачных событиях этого сна. Сейчас все это происходило наяву, а я ощущал себя таким же бестелесным, таким же безвольным...

- И он ничего не заподозрил?

- Кто?

Я вздрогнул; его голос, как голос пробудившейся совести, напугал меня: мы оба молчали с тех пор, как сели в такси.

- Человек, который окликнул вас возле вокзала.

- О да, абсолютно ничего. Я теперь вспоминаю, что он знал о вашей поездке, - он сказал, что она, видимо, была безуспешной. Это вам о чем-нибудь говорит?

- Еще как...

Я не стал развивать эту тему. Это меня не касалось. Я лишь взглянул на него украдкой - он так же украдкой смотрел на меня. Наши глаза встретились, но мы не улыбнулись друг другу, что было бы естественно для людей, связанных узами сродства, и я вновь почувствовал озноб, точно меня подстерегала опасность. Я отвернулся от него и стал глядеть в окно. В то время как такси завернуло за угол и остановилось у собора, раздался низкий, торжественный благовест ко

всенощной. Этот неожиданный зов всегда глубоко меня трогал, задевал в моем сердце какие-то неведомые струны. Сегодня в громком, неудержимом звоне колоколов было предостережение. Мы вышли из такси. Медный лязг стал тише, перешел в глухой рокот, рокот – во вздохи, вздохи укORIZНЫ. В двери собора зашли несколько человек. Я открыл багажник. Мой спутник ждал, с интересом рассматривая машину.

– «Форд-консул», – сказал он. – Какого выпуска?

– Он у меня два года. Прошел около пятнадцати тысяч километров.

– Вы им довольны?

– Очень. Но я мало на нем езжу. Только на уик-энды.

Пока я укладывал его чемоданы, он жадно расспрашивал меня о машине. словно мальчишка, увидевший новую марку, он трогал переключатель скоростей, похлопывал по сиденьям, чтобы проверить пружины, касался пальцами коробки передач и указателя скорости и наконец, в полном восторге от машины, спросил, нельзя ли ему ее повести.

– Разумеется, можно, – сказал я, – вы знаете город лучше меня. Действуйте.

Он с уверенным видом сел за руль, я забрался на сиденье рядом. Отъезжая от собора и поворачивая на улицу Вольтера, он продолжал восторженно шептать: «Великолепно. Чудесно»; видно было, что он наслаждается каждой секундой езды, вернее, бешеной гонки, – сам я езжу весьма осторожно. Мы проскочили перекресток при красном свете, чуть не сбили с ног старика, прижали к обочине огромный «бьюик», к ярости сидевшего за рулем американца, и продолжали кружить по городу, чтобы, как объяснил мой спутник, проверить скорость моего «форда».

– Вы не представляете, – сказал он, – как забавно пользоваться чужими вещами. Это одно из самых больших моих удовольствий.

Я зажмурил глаза: мы огибали угол так, словно участвовали в авторалли.

– Но, быть может, – продолжал он, – вы уже умираете с голоду?

– Ну что вы, – пробормотал я. – Я в вашем распоряжении.

И тут же подумал, что французский слишком деликатный, слишком вежливый.

– Я хотел было отвезти вас в единственный ресторан, где можно прилично пообедать, – сказал он, – но передумал. Меня там знают, а я по некоторым соображениям предпочел бы остаться инкогнито. Не каждый день встречаешь самого себя.

Его слова вновь пробудили во мне то чувство неловкости, которое я испытал в такси. Ни один из нас не желал выставлять напоказ наше сходство. Я внезапно осознал, что не хочу быть увиденным с ним рядом. Не хочу, чтобы официанты пялили на нас глаза. Мне почему-то было стыдно, словно я делал что-то украдкой. Непривычное для меня чувство. Мы подъезжали к центру города, и он снизил скорость.

– Пожалуй, – сказал он, – я не вернусь сегодня домой, а заночую в отеле.

Казалось, что он думает вслух. Вряд ли он ждал от меня ответа.

– В конце концов, – продолжал он, – когда мы кончим обедать, будет слишком поздно звонить Гастону, чтобы он привел машину. Да они и не ждут меня.

Я сам придумывал такие же предлоги, чтобы отодвинуть встречу с чем-нибудь неприятным. Интересно, почему его не тянет домой?

– А вы, – сказал он, поворачиваясь ко мне в то время, как мы ждали у светофора, – может быть, вы все же передумаете и не поедете в монастырь? Вы тоже могли бы остановиться на ночь в отеле.

Голос его звучал странно. Казалось, он нащупывает путь к какой-то договоренности между нами, к какому-то решению проблемы, не вполне ясной для нас самих, и, когда он посмотрел на меня, взгляд его был испытующим и в то же время уклончивым, словно он что-то скрывал.

– Возможно, – ответил я. – Не знаю.

Перестав восторгаться машиной, погрузившись в себя, он пересек центр города, не останавливаясь у больших отелей, которые я заметил днем. Наконец мы оказались в районе серых, однообразных домов, фабрик и складов. На убогих улицах то и дело попадались дешевые пансионы, сомнительные меблированные комнаты, отели, где не спрашивали паспорта и не задавали вопросов, если вы хотели провести там ночь или час.

– Здесь спокойней, – проговорил он, и я, как и прежде, не мог сказать, обращается ли он ко мне или думает вслух.

Но мне не очень-то понравился его выбор, когда мой спутник остановил машину перед облупленным домом, втиснутым между двумя другими, такими же грязно-коричневыми, как и он, над полуоткрытой дверью которого виднелась надпись из тусклых синих электрических лампочек: «Hotel. Tout confort»[7 - Все удобства (фр.)], предупреждая о том, что это за заведение.

– Иногда, – сказал он, – эти места полезны. Не всегда хочешь встретить знакомых.

Я ничего не ответил. Он выключил мотор и распахнул дверцу.

– Зайдете? – спросил он.

У меня не было никакого желания проникать в тайны удобств, о которых объявлялось более мелкими буквами под синей вывеской, но я вылез из машины и вытащил из багажника его чемоданы.

– Пожалуй, нет, – сказал я. – Вы зайдите, договоритесь о номере, если хотите. Я предпочитаю сперва пообедать, а уж потом решать, что делать дальше.

Меня больше прельщал мой маршрут на север: сперва в Мортань, затем по грунтовой дороге в монастырь траппистов.

– Ваше дело, – сказал он, пожав плечами, и, толкнув дверь, вошел внутрь.

Я закурил. На меня начал действовать коньяк, выпитый в буфете. Все происходящее казалось нереальным, в голове затуманилось, и я смятенно спрашивал себя, что я делаю здесь, на грязной боковой улочке Ле-Мана, зачем жду человека, который еще час назад был мне незнаком, который все еще оставался чужим, но при этом благодаря нашему случайному сходству распоряжается моим вечером, направляет его ход, кто знает, во благо или во зло. Я подумал, не сесть ли мне потихоньку в машину и уехать и тем зачеркнуть эту встречу; занимательная сперва, она стала теперь казаться мне угрожающей, даже зловещей. Я уже было протянул руку, чтобы включить зажигание, как он вернулся.

– Все улажено, – сказал он. – Пошли поедим. Машина нам ни к чему. Я знаю хорошее местечко тут, на соседней улице, за углом.

Я не смог найти предлога избавиться от него и, презирая себя за слабость, тенью повлекся следом за ним.

Он привел меня в нечто среднее между рестораном и бистро. Вход был загроможден велосипедами – должно быть, там собирался клуб велосипедистов; внутри было полно подростков в ярких шерстяных фуфайках, они горланили и пели, а за столом кучка пожилых рабочих играла в кости. Мой спутник уверенно проложил нам путь сквозь шумную толпу, и мы сели за столик позади потрепанной ширмы; пронзительные голоса мальчишек наполовину заглушались хриплым радио.

Хозяин, он же официант и бармен, всунул мне в руки неудобочитаемое меню, и в тот же миг передо мной оказались стакан вина и тарелка супа, которых я не заказывал. Потолок слился с полом, время потеряло значение, но вот мой спутник наклонился ко мне через стол и поднял стакан со словами:

– За вашу поездку к траппистам.

Иногда четвертый бокал может временно рассеять туман, который образовался в голове после трех предыдущих, и, пока я ел и пил, лицо моего визави снова стало четким, в нем не было больше ничего таинственного, ничего пугающего, оно казалось ласковым и привычным, как собственное мое отражение, оно улыбалось, когда я улыбался, хмурилось, когда я хмурился; голос его – эхо моего голоса – вызывал меня на разговор, подталкивал к признаниям. И вот уже, сам

не знаю как, я заговорил о своем одиночестве, о смерти, о пустоте моего внутреннего мира, о том, как трудно мне выйти из своей скорлупы, о неуверенности в себе, своей нерешительности, своих сомнениях, своей апатии...

– А там, в монастыре, – услышал я свой голос, – где монахи живут в безмолвии, у них должен быть на все это ответ, они должны знать, как заполнить вакуум, ведь они погрузились во мрак, чтобы достичь света, а я...

Я приостановился, стараясь точнее сформулировать свою мысль, – ведь то, что я хотел сказать ему, было жизненно важно для нас обоих.

– Другими словами, – продолжал я, – в монастыре, возможно, и не дадут мне ответа, но укажут, где надо его искать; хотя у каждого из нас свои проблемы и решение их тоже у каждого свое, как у каждого замка свой ключ, не объемлет ли их ответ все вопросы – точно так, как отмычка открывает все замки?

Его дерзкие голубые глаза были совершенно трезвы, в них отражалась та насмешка над собой, тот скепсис, которые бывали в моих на следующее утро после попойки. Мои признания явно забавляли его.

– Нет, мой друг, – сказал он. – Если бы вы знали о религии столько же, сколько я, вы бы убежали от нее, как от чумы. У меня есть сестра, которая ни о чем другом не думает. Жизнь научила меня одному: единственное, что движет людьми, это алчность. Мужчины, женщины, дети – для всех алчность первейший жизненный стимул. Хвалиться тут нечем, да что из того? Главное – утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят. Беда в том, что они никогда не бывают довольны.

Он вздохнул и налил себе еще вина.

– Вы жалуетесь, что ваша жизнь пуста, – сказал он. – Мне она кажется раем. Хозяин в собственной квартире, никаких семейных пут, никаких деловых обязательств, весь Лондон к вашим услугам, если вздумается поразвлечься, хотя лично мне он не показался веселым, когда я был выслан туда во время войны, – но, так или иначе, в большом городе ты всегда свободен. Он не душит тебя, как веревка на шее.

Голос его изменился, стал жестким, глаза гневно сверкали – впервые он показал, что и у него есть проблемы, которым он не хочет смотреть в лицо; он перегнулся

ко мне через стол и сказал:

– Вы самый счастливый человек на свете – и вы недовольны. Вы говорили, что ваши родители умерли много лет назад, что нет никого, кто бы предъявлял на вас права. Вы абсолютно свободны, вы можете один вставать по утрам, один есть, один работать, один ложиться в постель. Поблагодарите судьбу и забудьте все эти глупости насчет траппистов.

Как все одинокие люди, я делался излишне словоохотливым, если ко мне проявляли симпатию и интерес. Я показал ему все тусклые уголки своего существования, о нем же не знал ничего.

– Ну что ж, – сказал я, – теперь ваша очередь исповедаться. В чем ваша беда?

На миг мне показалось, что он хочет ответить, что-то промелькнуло в его глазах – колебание, раздумье, – но тут же снова исчезло... он снисходительно улыбнулся, лениво пожал плечами.

– Моя? – сказал он. – Моя беда в том, что я слишком многим владею. Вернее, слишком многими. – И, закулив сигарету, он резко махнул рукой, предостерегая меня от дальнейших расспросов.

Я, если хотел, мог заниматься самим собой, мог исследовать свое дурное настроение, но к нему в душу вход был запрещен. Мы покончили с обедом, но не встали, а продолжали курить и пить. То и дело, заглушая хриплое пение по радио, до нас долетали болтовня и смех мальчишек-велосипедистов, скрип стульев и споры рабочих, играющих в кости.

Я молчал, нам больше не о чем было говорить. Все это время он не сводил с меня глаз, вызывая во мне странное чувство неловкости. Когда он сказал, что ему надо позвонить домой, встал и вышел из-за стола, мое напряжение ослабло, стало легче дышать. Но вот он вернулся, и я спросил: «Ну что?» – скорее из вежливости, чем из интереса, и он коротко ответил: «Я велел прислать за мной машину. Завтра». Позвав хозяина, он оплатил по счету, не обращая внимания на мои слабые протесты, а затем, подхватив меня под руку, протиснулся между поющими велосипедистами, и мы вышли на улицу.

Было темно, опять шел дождь. Улица казалась пустой. Нет ничего более унылого, чем окраина провинциального города в пасмурный вечер, и я пробормотал что-то насчет машины и отъезда и как замечательно было с ним повстречаться – настоящее приключение, но он, продолжая держать меня под руку, сказал:

– Нет, я не могу вас так отпустить. Слишком это необычно, слишком неправдоподобно.

Мы снова были у входа в его жалкий, тускло освещенный отель, и, заглянув в по-прежнему открытую дверь, я увидел, что за конторкой портье никого нет. Он тоже это заметил и, оглянувшись через плечо, сказал:

– Поднимемся ко мне. Выпьем еще по рюмочке, прежде чем вы уедете.

Голос его звучал настойчиво, он подгонял меня, словно нам нельзя было терять время. Я запротестовал, но он чуть не силой повел меня вверх по лестнице, затем по коридору к дверям номера. Вытащил из кармана ключ, открыл дверь и зажег свет. Мы были в небольшой убогой комнатке. «Присаживайтесь, – сказал он, – будьте как дома», и я сел на кровать, так как единственный стул был занят открытым чемоданом. Он уже вынул из него пижаму, головные щетки и домашние туфли и теперь, достав фляжку, наливал коньяк в стаканчик для полоскания рта. И снова, как это было в бистро, потолок опустился на пол и все происходящее стало казаться мне неизбежным, неотвратимым, я никогда не расстанусь с ним, а он со мной, он спустится следом по лестнице, сядет рядом в машину, никогда я не освобожусь от него. Он моя тень, или я его тень, и мы прикованы друг к другу навеки.

– Что с вами? Вам плохо? – спросил он, заглядывая мне в глаза.

Я встал, раздираемый двумя желаниями: одно – открыть дверь и спуститься вниз, другое – снова встать рядом с ним перед зеркалом, как мы стояли в станционном буфете. Я знал, что первое желание разумно, а второе чревато бедой, и все же я должен был это сделать, должен был вновь испытать то, что уже раз испытал. Вероятно, он догадался об этом, потому что мы повернули головы в один и тот же миг и уставились на свои отражения. Здесь, в небольшой тихой комнате, наше сходство казалось еще более противоестественным, более жутким, чем в переполненном шумном буфете, где звучали голоса людей и

плавали клубы дыма, или в бистро, где я думал совсем о другом. Эта жалкая комната с темными обоями и скрипучим полом напоминала склеп; мы находились здесь вдвоем, отгороженные от всего мира, побег был невозможен. Он сунул стаканчик с коньяком в мои дрожащие пальцы, сам глотнул из горлышка, а затем сказал таким же нетвердым голосом, как у меня, а возможно, говорил я сам, а он слушал:

– Давайте поменяемся одеждой.

Я помню, что один из нас расхохотался в то время, как я грохнулся на пол.

Глава 3

Кто-то стучал в дверь, пробиваясь сквозь мрак в сознание; казалось, это никогда не прекратится; наконец я поднялся из бездонных глубин сна и крикнул: «Entrez!»[8 - Войдите! (фр.)], изумленно осматривая чужую комнату, которая постепенно становилась реальной, приобретала знакомые черты.

Держа в руках фуражку, в дверь вошел невысокий, приземистый мужчина в выцветшей старомодной форме шофера – куртка на пуговицах, бриджи и краги – и остановился на пороге. Его темно-карие глаза с сочувствием глядели на меня.

– Господин граф наконец проснулся? – сказал он.

Я, нахмурившись, посмотрел на него, затем снова окинул взглядом комнату: раскрытый чемодан на стуле, второй – на полу, через спинку в изножье кровати переброшено верхнее платье. На мне полосатая пижамная куртка, которую я видел в первый раз. На умывальнике – стаканчик и фляжка с остатками коньяка. Моей собственной одежды нигде не было видно, но я не помнил, чтобы я раздевался и убирал ее. В памяти сохранилось одно: как я стою перед зеркалом рядом с моим двойником.

– Кто вы? – спросил я шофера. – Что вам надо?

Он вздохнул, кинул понимающий взгляд на беспорядок, царивший в комнате.

- Господин граф хочет еще немного поспать? - спросил он.

- Господина графа здесь нет, - сказал я. - Он, должно быть, вышел. Который час?

События прошедшего вечера все ясней всплывали в памяти, и я припомнил, что в бистро мой спутник ходил звонить домой и приказал, чтобы на следующий день за ним прислали машину. Скорей всего, это его шофер, который только сейчас приехал и принял меня за своего хозяина. Взглянув на часы, он сказал, что уже пять часов.

- Пять часов? Быть этого не может, - бросил я и поглядел в окно. Было светло, снаружи доносился шум машин.

- Пять часов вечера, - повторил шофер. - Господин граф крепко спал весь день. Я жду здесь с одиннадцати утра.

В его словах не было упрека, он просто констатировал факт. Я приложил руку ко лбу - голова у меня трещала. Нащупал сбоку шишку, к ней нельзя было прикоснуться без боли, но дело было не в ней одной. Я подумал обо всем, что выпил накануне, и о том, последнем, стаканчике коньяка. А может быть, не последнем?.. У меня все стерлось из памяти.

- Я упал, - сказал я шоферу, - и думаю, мне что-то подмешали в вино.

- Вполне возможно, - сказал он, - такие вещи случаются.

Голос его звучал участливо, как у старой нянюшки, успокаивающей ребенка. Я спустил ноги с кровати и уставился на пижамные штаны. Сидели они хорошо, но были не мои, и я абсолютно не помнил, как и когда их надел. Я протянул руку, дотронулся до жилета и брюк, висевших на спинке, - совсем другой фасон и материал, чем у меня, - и тут я узнал дорожный костюм моего вчерашнего компаньона.

- Куда делась моя одежда? - спросил я.

Шофер подошел к кровати и, сняв костюм, накинул пиджак на спинку стула и разгладил рукой брюки.

– Господин граф, видимо, думал о чем-то другом, когда раздевался, – заметил он и улыбнулся мне.

– Нет, – сказал я, – эти вещи не мои. Они принадлежат вашему хозяину. Возможно, мои там, в платяном шкафу.

Он поднял брови и поджал губы, сморщив лицо в гримасу, как взрослый, потакающий ребенку, и, пройдя через комнату, распахнул дверцы шкафа. Шкаф был пуст.

– Выдвиньте ящики, – сказал я.

Но и там ничего не оказалось. Я встал с постели и принялся рыться в чемоданах, в том, что стоял на стуле, и в том, что был на полу. В них были вещи моего вчерашнего товарища. Только тут я осознал, что, напившись, мы, должно быть, обменялись одеждой – глупая, безрассудная выходка, одна мысль о которой была мне противна, и я поспешил отогнать ее от себя, не желая вспоминать о вчерашних событиях.

Я подошел к окну и выглянул на улицу. Перед входом стоял «рено». Моя машина исчезла.

– Вы не видели мою машину, когда приехали? – спросил я шофера.

Тот озадаченно взглянул на меня.

– Господин граф купил новую машину? – удивился он. – Здесь не было никаких машин сегодня утром.

Его упорный самообман действовал мне на нервы.

– Нет, – сказал я, – я ничего не покупал, я говорю о своей старой машине, о своем «форде». И я не господин граф. Господин граф ушел в моей одежде. Узнайте, не оставил ли он у портье для меня записки. Видно, и машину мою взял тоже он. С

его стороны это шутка, но лично мне она не кажется смешной.

В глазах шофера возникло новое выражение. Он глядел на меня встревоженно, огорченно.

- Мы можем не спешить, - сказал он, - если господину графу хочется еще отдохнуть.

Он подошел ко мне и, протянув руку, осторожно пощупал мой лоб.

- Хотите, я схожу в pharmacie?[9 - Аптека (фр.).] - спросил он. - Больно, когда я здесь трогаю?

Я понимал, что надо запастись терпением и держать себя в руках.

- Вы не попросите портье подняться сюда? - сказал я.

Он вышел и стал спускаться по лестнице, а я снова осмотрел комнату, но нигде - ни в платяном шкафу, ни в ящиках туалетного столика, ни на столе - не обнаружил ни одной своей вещи, ничего, что помогло бы мне доказать, кто я такой. Одежда моя исчезла, а с ней бумажник, паспорт, деньги, записная книжка, ключи, вечное перо, все мелочи, которые я обычно ношу с собой. Хоть бы запонка или булавка для галстука... Нет, все здесь принадлежало ему. На крышке чемодана лежали его щетки с инициалами «Ж. де Г.», меня ждал его костюм, туфли, бритвенные принадлежности, мыло, губка, а на туалетном столике - бумажник с деньгами, визитные карточки, где было напечатано: «Le Comte de Gue»[10 - Граф де Ге (фр.)], а в нижнем левом углу: «St. Gilles, Sarthe»[11 - Сен-Жиль, Сарт (фр.)]. В тщетной надежде откопать хоть что-нибудь, принадлежащее мне, я перерыл второй чемодан, но не нашел ничего - лишь его носильные вещи, дорожные часы, складной бювар, чековую книжку и несколько завернутых в бумагу пакетов, похожих на подарки.

Я снова сел на кровать, обхватив голову руками. Мне оставалось только ждать. Скоро он вернется. Он должен вернуться. Он забрал мою машину, и стоит мне пойти в полицию, назвать ее номер и заявить о пропаже бумажника с деньгами, туристского чека и паспорта - и мой двойник будет найден. Тем временем... тем временем - что?

Вернулся шофер, а с ним засаленный субъект вороватого вида – должно быть, портье, а возможно, сам хозяин. В руке он держал листок бумаги, и, когда он протянул его мне, я увидел, что это счет: с меня причиталась плата за номер на одного, сданный на сутки.

– Вы чем-то недовольны, господин? – спросил он.

– Где тот джентльмен, с которым я был этой ночью? – спросил я. – Кто-нибудь утром видел, как он выходил?

– Вы были один, когда снимали вчера комнату, – ответил человечек, – а с кем вы вернулись сюда вечером, я сказать не могу. Мы здесь в чужие дела не лезем, мы клиентам вопросов не задаем.

В подобострастном тоне я уловил фамильярные, даже презрительные нотки. Шофер уставился в пол. Я заметил, как хозяин, или кто он там был, взглянул на смятую постель, затем на фляжку с коньяком на умывальнике.

– Придется заявить в полицию, – сказал я.

У хозяина сделался испуганный вид.

– Вас ограбили? – спросил он.

Шофер оторвал глаза от пола и, все еще держа фуражку в руках, подошел и встал рядом со мной, точно желая защитить.

– Лучше не нарываться на неприятности, господин граф, – тихо сказал он. – Ничего хорошего из этого не выйдет. Час-другой, и вы придете в себя. Позвольте, я помогу вам одеться, и мы поскорей вернемся домой. Связываться с таким человеком в таком месте, как это, себе дороже, вы знаете это не хуже меня.

И тут я не выдержал. Я подумал о том, как глупо я выгляжу, сидя на постели в этой грязной комнатенке, облаченный в чужую пижаму, принятый за другого, словно персонаж фарса в мюзик-холле, жертва шутки, без сомнения забавной для того, кто ее придумал, но отнюдь не для меня. Хорошо же. Если он решил

поставить меня в дурацкое положение, я отплачу ему тем же. Я надену его одежду, сяду в его машину и буду гнать ее как безумный – что он, вероятно, делает сейчас с моей, – пусть меня арестуют; тут уж ему придется вернуться и объяснить, если сможет, свой бессмысленный поступок.

– Прекрасно. Выйдите отсюда и оставьте меня одного, – сказал я шоферу.

Он вышел, хозяин вместе с ним; с возмущением, к которому примешивалась странная брезгливость, я протянул руку к костюму и принялся одеваться.

Когда я был готов, я побрился его бритвой и причесался его щетками; в моем отражении, глядевшем на меня из зеркала, что-то неуловимо изменилось. Мое «я» исчезло. Передо мной стоял человек, называвший себя Жан де Ге, в точности такой, каким я увидел его впервые, когда вчера вечером в станционном буфете он нечаянно меня толкнул. Смена одежды привела к перемене личности: казалось, плечи мои стали шире, голову я держал выше, даже выражение глаз было его. Я через силу улыбнулся, и отражение в зеркале улыбнулось мне в ответ – небрежная усмешка, подходившая к подложенным плечам его пиджака и галстуку-бабочке, – ничего подобного я никогда в жизни не носил. Я извлек из кармана его бумажник и пересчитал банкноты. Там оказалось около двадцати тысяч франков, а на туалетном столике лежало немного мелочи. Я обшарил все отделения: вдруг он оставил записку, несколько нацарапанных наспех строчек, объясняющих шутку, которую он со мной сыграл? Пусто, ни единого слова, никаких доказательств того, что он вообще заходил в эту комнату, был в этом отеле.

Я распался все больше. Я предвидел бесчисленные объяснения, которые буду вынужден давать в полиции, слышал ушами полицейских мою бессвязную, запутанную историю, которая им скоро наскучит, понимал их нежелание идти со мной в станционный буфет и бистро, где мы обедали накануне, чтобы получить подтверждение моим словам о том, что вчера там были вместе два человека, как две капли воды похожие друг на друга. Как он, должно быть, смеется сейчас надо мной, этот Жан де Ге, сидя за рулем моей машины, направляясь куда глаза глядят – на север, на юг, на запад или на восток – с туристским чеком на двадцать пять долларов, по которому еще не получены деньги, и наличными, что еще остались у меня в карманах; а возможно, он сейчас в кафе, читает с этой его ленивой усмешкой мои записки для лекции. Ему все это кажется забавным; ему ничто не мешает смаковать свою шутку, ехать куда захочет, вернуться, когда шутка приестся; а я все это время буду торчать в полицейском

участке или консульстве, пытаюсь заставить чиновников разобраться в моей истории, которой они, скорее всего, вообще не поверят.

Я положил туалетные и бритвенные принадлежности обратно в чемодан, туда же сунул пижаму и, спустившись, попросил человека за конторкой снести вниз вещи из комнаты. Он по-прежнему поглядывал на меня с таким видом, словно смеялся про себя надо мной, словно между нами было какое-то соглашение не совсем пристойного свойства, и я спросил себя, уж не является ли это место убежищем Жана де Ге, куда он обычно приходит тайком для один бог знает каких рандеву... А когда я расплатился по счету и он последовал за мной с багажом к древнему «рено», где нас ожидал шофер, я понял, что сделал первый шаг на пути к обману; тем, что я не протестовал, не обратился сразу же в полицию, надел чужое платье и хотя бы в течение получаса выдавал себя за Жана де Ге, я разделил с ним вину. Я стал соучастником своего двойника, а не обвинителем.

Шофер уже уложил багаж и теперь стоял у машины, придерживая дверцу.

– Господину графу лучше? – спросил он тревожно.

Я мог ответить: «Я не господин граф. Немедленно отвезите меня в полицию», но я этого не сказал. Я сделал второй решающий шаг: сел за руль «рено» – модель, которая случайно была мне знакома, так как в прежние времена, если я не приезжал на своем «форде», я обычно брал внаем машину этой марки и ездил на ней в интересующие меня места в окрестностях того городка или деревни, где я останавливался. Шофер сел рядом со мной. Я тронулся с места, мечтая поскорей оставить позади этот обшарпанный подозрительный отель, чтобы больше никогда в жизни его не видеть, и, подстегиваемый гневом и отвращением к самому себе, свернул на первую дорогу, которая вела из Ле-Мана к шоссе, уходящему в поля и леса, прочь от города и того, что случилось там прошлой ночью. Вчера он чуть не загнал мой бедный «форд» – чужого не жалко, – сейчас я мог воздать ему с лихвой. Я небрежно нажал на акселератор, и старенькая машина рванулась вперед. Что бы с ней ни случилось, думал я, неважно – она не моя. Я ни за что не отвечаю, осудят Жана де Ге. Если я намеренно переверну машину на обочине, это будет его вина, а не моя.

Я внезапно рассмеялся, и сидевший рядом со мной шофер сказал:

– Так-то лучше. Пока мы были в Ле-Мане, я боялся, уж не заболел ли господин граф; хорошенькое было бы дело, если бы вас нашли в этом отеле. Я расстроился вчера вечером, когда вы приказали заехать за вами туда. Слава богу еще, что господин Поль был очень занят и не поехал за вами сам.

И тут я пропустил свой третий шанс. Я мог бы остановить машину и сказать ему: «Это зашло слишком далеко. Отвезите меня обратно в Ле-Ман. Я никогда не слышал ни о каком господине Поле, я могу доказать это вам и полицейским». А вместо этого я увеличил скорость, чтобы перегнать идущие впереди машины. Я не думал об опасности, мной владело незнакомое прежде чувство вседозволенности: что бы я ни сделал, я выйду сухим из воды. На мне чужая одежда, я веду чужую машину, я могу поступать как хочу, меня никто не призовет к ответу, мне все сойдет с рук. Впервые в жизни я был свободен.

Мы, должно быть, проехали по шоссе около двадцати пяти километров, когда впереди показалась деревня; я сбавил скорость. Промелькнула доска с названием, но, не взглянув на нее, я проскочил деревню насквозь и только устремился вперед, как шофер сказал:

– Вы сбились с пути, господин граф.

И я понял, что от судьбы не уйдешь. Отступить было поздно. По странной игре случая я оказался в этот день, в этот час и в эту минуту на этой дороге, в этой точке на карте, в самом сердце неведомого мне края в стране, которую я, чужестранец, всю жизнь мечтал понять. Впервые мне стал ясен смысл шутки, как видел ее Жан де Ге, когда оставил меня спящим в отеле Ле-Мана, впервые я взглянул его глазами на забавное стечение наших обстоятельств.

«Единственное, что движет людьми, – это алчность, – сказал он мне, – главное – утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят». Он дал мне то, о чем я просил, – шанс сделаться здесь своим. Он одолжил мне свое имя, свои вещи, свою личность. Я говорил, что моя жизнь пуста, он отдал мне свою. Я жаловался, что потерпел фиаско, он снял с меня это бремя, когда забрал мою одежду, мою машину и уехал. Какой бы груз мне ни пришлось теперь нести вместо него, это не имеет значения, ведь груз этот не мой. Подобно актеру, рисующему морщины на молодом лице, чтобы спрятаться за маской своего персонажа, я мог зачеркнуть свое прежнее, неуверенное, мнительное, до смерти надоевшее мне «я», забыть о его существовании, а новое «я» по имени Жан станет жить без забот и тревог, ни за что не неся ответа, ведь что бы этот ложный Жан де Ге ни

сделал, какое безрассудство ни совершил, настоящий Джон от этого не пострадает.

Все это промелькнуло в моем сознании, вернее, в подсознании, когда я снижал скорость перед деревней. Будущее мое было в руках чужих, неизвестных мне людей, начиная с сидящего рядом шофера, который минуту назад сказал мне, что я сбился с пути, – возможно, это были вещие слова.

– Верно, – кивнул я, – ведите машину вы.

Он вопросительно взглянул на меня, но ничего не сказал, и мы молча поменялись местами. Шофер повернул машину обратно к деревне и, немного до нее не доехав, свернул налево, оставив шоссе позади.

Мне больше не надо было показывать машине дорогу, и я ссутулился на сиденье – манекен без единой мысли в голове. Взвинченность, нервная лихорадка постепенно исчезли. Пусть делают что хотят, я их не боюсь; кого «их» – я не трудился себя спросить.

За нашей спиной садилось солнце, и чем дальше мы ехали, тем тесней нас обступали поля, тем глубже мы погружались в безмолвие. Среди розовых от заката нив расплывчатыми пятнами, точно оазисы, лежали одинокие фермы. Поля уходили к горизонту – необъятная ширь, прекрасная, как океан в первые дни творения; золотые плюмажи аспарагуса по обочинам узкой извилистой дороги колыхались, как волосы русалок. Все казалось смутным, нереальным. Как во сне, плыла мимо серая стерня и похожие на камыш стебли обезглавленных подсолнухов, которые с первыми осенними морозами свалятся друг на друга. Массивные, плотные стога сена с белыми прожилками, обычно резко очерченные на фоне неба, сливались с землей, словно из небытия возникали длинные ряды тополей с трепещущими и падающими листьями и вновь исчезали. Призрачные деревья, высокие, стройные, смыкали свои ветви над головой крестьянки, устало бредущей в какое-то неведомое мне место. Повинуясь внезапному порыву, я попросил шофера остановить машину и постоял несколько мгновений, вслушиваясь в тишину; за спиной закатывалось кроваво-красное солнце, поднимался белесый туман. Верно, ни один путник, впервые проникший в неведомые, не нанесенные на карту края, не чувствовал себя так одиноко, как я, стоя на пустынной дороге. От земли исходило спокойствие и безмятежность. Ее столетиями месили и лепили, придавая теперешнюю форму, ее попирала тяжелой стопой история, ею кормились, на ней жили и умирали многие

поколения мужчин и женщин, и ничто – ни слова наши, ни поступки – не могло нарушить ее глубокий покой. Он окутывал меня со всех сторон, и на один краткий миг здесь, среди узорчатых полей, под темнеющим небом, я был близок – но насколько, спросил я себя, – к ответу на то, как покончить с сомнениями, душевной смутой и страхами, ближе, чем был бы, последуй я первому побуждению и отправься в монастырь траппистов.

– Господину графу не очень-то хочется возвращаться домой, – раздался голос шофера.

Я взглянул на его доброе, честное лицо; в глубине его карих глаз я прочитал сочувствие и мягкую насмешку; так смотрит человек, который горячо любит своего хозяина, который будет сражаться и умрет за него, но не побоится сказать ему, что он сбился с пути, если это случится. Никогда еще, подумал я, я не видел преданности в обращенных ко мне глазах. Его сердечность вызвала у меня ответную улыбку, но я тут же вспомнил, что любит-то он не меня, а Жана де Ге. Я снова сел в машину с ним рядом.

– Не всегда легко, – сказал я, повторяя слова, сказанные мне накануне, – быть семейным человеком.

– Что верно, то верно, – со вздохом отозвался шофер, пожимая плечами. – В таком доме, как ваш, столько проблем, а кому, кроме вас, их решать? Иногда я спрашиваю себя: как господину графу удастся избежать катастрофы?

Такой дом, как мой?.. Дорога взбежала на гребень холма, и я увидел на столбе указатель, предупреждающий, что впереди находится деревня Сен-Жиль. Мы проехали мимо старинной церквушки, мимо маленькой, усыпанной песком площади, окруженной редкими, изъеденными временем домами, среди них – бакалейная лавка, мимо табачного ларька и заправочной станции и, свернув налево по липовой аллее, пересекли узкий мост. И тут чудовищность того, что я делаю, что уже сделал, оглушила меня, словно удар по голове. Волна дурных предчувствий, да что там – ужаса, нахлынула и целиком поглотила меня. Я узнал значение слова «паника» в его полном смысле. У меня было лишь одно желание – бежать, спрятаться, укрыться где угодно, в канаве, в норе, лишь бы избегнуть роковой встречи с замком, который неотвратимо приближался ко мне; вот уже впереди показались увитые плющом стены, под последним умирающим лучом солнца зажглись оконца в двух передних башнях. Машина запрыгала по деревянному мостику через ров, в котором некогда, возможно, была вода, но

теперь виднелись лишь сорняки и крапива, и, проскочив в открытые ворота, описала полукруг по гравиевой подъездной дорожке и встала перед входом. Нижние окна, уже закрытые ставнями на ночь, что придавало фасаду замка какой-то ущербный, мертвый вид, выходили на узкую террасу, и в то время, как я все еще сидел неподвижно в машине, не решаясь выйти, в единственных дверях появился какой-то мужчина и остановился, поджидая меня.

- А вот и господин Поль, - сказал шофер. - Если он станет спрашивать меня, я скажу, что у вас были в Ле-Мане дела и я захватил вас из Hotel de Paris[12 - Отель «Париж» (фр.)].

Он вышел из машины, я медленно вылез следом за ним.

- Гастон, - раздался голос с террасы. - Не убирайте машину, она мне понадобится. В «ситроене» что-то испортилось.

Мужчина взглянул на меня, облокотившись о балюстраду.

- Ну как? - спросил он. - Ты не очень-то торопился.

Он не улыбался.

Мое принужденное приветствие замерло у меня на губах, и, как преступник, стремящийся уйти от преследования в любое укрытие, я попытался спрятаться за машиной. Но шофер - значит, его зовут Гастон - уже вынул из багажника чемоданы и оказался у меня на пути. Я стал взбираться по ступеням, поднимая глаза навстречу первому пронизывающему взгляду незнакомца; судя по тому, что он обратился ко мне на «ты», это, несомненно, был кто-то из родственников. Я увидел, что он ниже, худощавее, наверное, моложе меня, но вид у него изможденный, точно он переутомлен или болен, страдальческие морщины у рта говорили о недовольстве жизнью. Подойдя к нему, я остановился, ожидая, чтобы он сделал первый шаг.

- Мог бы и позвонить, - сказал он. - Из-за тебя отложили обед. Франсуаза и Рене заявили, что ты попал в катастрофу. Я сказал, что это маловероятно, скорее всего, ты коротаешь время в баре отеля. Мы попытались связаться с тобой, но в отеле нам ответили, что тебя там не видели. После чего, разумеется, начались обычные жалобы.

От удивления я лишился языка: он ничего не заподозрил, хотя мы стояли лицом к лицу. Не знаю, чего я ожидал. Возможно, недоверчивого, более пристального взгляда, того, что внутренний голос шепнет ему: он не тот, за кого себя выдает. Он осмотрел меня с головы до ног, затем рассмеялся невеселым раздраженным смехом.

- Ну и видок у тебя! - сказал он.

Когда незадолго перед тем Гастон мне улыбнулся, его непривычное для меня дружелюбие принесло мне незаслуженную радость. Сейчас, впервые в жизни, я ощутил неприязнь к себе. Результат был странным, я обиделся за Жана де Ге. Чем бы он ни вызвал эту враждебность, я был на его стороне.

- Благодарю тебя, - сказал я. - Твое мнение меня не волнует. Если хочешь знать, я чувствую себя великолепно.

Он повернулся на каблуках и вошел в дверь; Гастон с улыбкой перехватил мой взгляд. И я понял, что, как ни удивительно, я ответил именно так, как от меня ожидали, и местоимение «ты», с которым раньше я ни к кому не обращался, слетело с моих губ вполне естественно, без малейших усилий.

Я последовал за мужчиной по имени Поль в дом. Холл был небольшой и на удивление узкий; за ним шло другое, более просторное помещение, где я увидел винтовую лестницу, ведущую на верхние этажи. До меня донесся чистый, холодный запах мастики, не имеющий никакого отношения к выцветшим шезлонгам, сложенным в кучу у стены в непосредственной и довольно странной близости к креслам в стиле Людовика XVI. В дальнем конце этого второго холла между двумя дверьми возвышался большой, изящный, желобчатой выделки шифоньер - из тех, что стоят в музеях, отгороженные от публики веревкой, - а напротив него на оштукатуренной стене висела почерневшая от времени картина - распятие Христа. Из одной, полуоткрытой, двери доносились приглушенные голоса.

Поль прошел через холл и, не заходя, крикнул:

- Вот наконец и Жан! - В его тоне опять прорвалось раздражение, впрочем, он и раньше не пытался его скрыть. - Я уезжаю, и так опоздал, - продолжал он,

затем, снова взглянув на меня, бросил: – Я вижу, ты не в форме, вряд ли ты сможешь сказать мне сегодня что-нибудь путное. Обсудим дела утром.

Он повернулся и вышел в ту же дверь, через которую мы вошли.

Гастон, неся чемоданы, поднимался по лестнице, и я подумал было, не пойти ли мне за ним, но тут у меня за спиной раздался высокий женский голос:

– Ты там, Жан?

Голос звучал недовольно, и опять шофер бросил на меня сочувственный взгляд. Медленно, не в силах оторвать от пола ноги, я переступил порог и окинул комнату беглым взглядом. Просторная, на стенах – обои, на окнах – тяжелые портьеры, торшеры под уродливыми абажурами с бисерной бахромой, затемняющей свет, с высокого потолка, поблескивая под пологом пыли, свисает изумительной красоты люстра, незажженная, со сломанными свечами. В единственное, от самого пола, окно, еще не закрытое ставнями, виднеется огромный заросший луг, уходящий к рядам деревьев, почти под самым окном щиплют траву черно-белые коровы – в сгущающихся сумерках они были похожи на привидения.

В комнате сидели три женщины. Когда я вошел, они подняли на меня глаза, и одна из них, того же роста, что я, тонкогубая, с жесткими, четкими чертами и узлом зачесанных назад волос, тут же поднялась и вышла. Вторую, черноглазую и черноволосую, можно было бы назвать хорошенькой, даже красивой, если бы ее не портил желтоватый, болезненный цвет лица и недовольно надутые губы; она молча следила за мной с дивана, где сидела с шитьем, а может быть, вышиванием в руках, и, когда первая женщина поднялась с места, окликнула ее через плечо, не поворачивая головы:

– Если уж тебе обязательно надо уйти, Бланш, будь добра, закрой дверь. Вам, возможно, все равно, а я боюсь сквозняков.

У третьей женщины были тусклые белокурые волосы. Вероятно, когда-то она была привлекательной, да и сейчас, глядя на ее мелкие точеные черты и голубые глаза, было бы трудно отказать ей в милости, если бы капризное, раздраженное, разочарованное выражение лица не портило его прелести. При виде меня она сердито усмехнулась, в точности как этот мужчина – Поль, затем,

встав, направилась ко мне по начищенному паркету.

– Я вижу, ты не собираешься нас поцеловать, – сказала она.

Глава 4

Я наклонил голову и поцеловал ее в обе щеки, затем, по-прежнему молча, пересек комнату и тем же манером поцеловал вторую женщину. Первая, та, белокурая, голубоглазая, – это она окликнула меня, когда я был в холле, я узнал ее голос, – подошла ко мне и, взяв под руку, подвела к камину, где тлело одно большое полено.

– И тебе не стыдно? – сказала она, обращаясь ко мне на «ты», как до нее Поль. – Мы тут места себе не находим – вдруг ты попал в аварию, но тебе, естественно, не до нас. Что ты делал весь день? Почему не остановился в отеле «Париж»? Полю ответили по телефону, что тебя вообще там не видели. Я начинаю думать, что ты делаешь все это нарочно, чтобы напугать нас, чтобы мы представили самое худшее.

– А какое оно, это самое худшее? – спросил я.

Я ответил ей без промедления, и это подняло во мне дух. То, что происходило в этом сне, вернее, кошмаре, не имело ничего общего с моим прошлым, мой жизненный опыт помочь тут не мог. И как бы чудовищно ни было то, что я скажу или сделаю, этим людям придется принять все как должное.

– Ты прекрасно знаешь, что мы не можем не волноваться, – сказала белокурая женщина, отпуская мою руку и слегка отталкивая меня. – Когда ты уезжаешь из дому, ты способен на что угодно и думаешь только о себе. Ты слишком много говоришь, слишком много пьешь, слишком быстро ведешь машину.

– Другими словами, ни в чем не знаю меры, – прервал я.

– Не знаешь жалости к нам.

– Ах, оставь его в покое, – вмешалась вторая женщина. – Неужели ты не видишь, что он не собирается ничего тебе рассказывать? Ты попусту теряешь время.

– Спасибо, – сказал я.

Она подняла глаза от работы и бросила на меня понимающий взгляд. Возможно, мы были союзниками. Интересно, кто она? Она ничем не походила на Поля, хотя оба были темноволосыми и темноглазыми. Белокурая женщина вздохнула и снова села. Только теперь, глядя на ее фигуру, я понял, что она ждет ребенка.

– Мог бы, по крайней мере, рассказать нам о том, что произошло в Париже, – проговорила она. – Или это тоже должно остаться тайной?

– Понятия не имею о том, что произошло в Париже, – небрежно ответил я. – Я страдаю потерей памяти.

– Ты страдаешь от перепоя, – сказала она. – От тебя несет. Самое лучшее, что ты можешь сделать, лечь в постель и проспаться. Не подходи к Мари-Ноэль, у нее небольшой жар, вдруг что-нибудь заразное. В деревне у кого-то из детей корь, и если я ее подхвачу... – она приостановилась и многозначительно посмотрела на нас, – сами можете представить, что будет.

Я продолжал стоять спиной к камину, спрашивая себя, как мне отсюда ускользнуть и найти свою спальню. Чемоданы-то я узнаю, правда если их уже не распаковали. Даже в этом случае где-то, в какой-то из комнат, лежат щетки с инициалами «Ж. де Г.». Постель была убежищем, там я мог все обдумать, составить какие-то планы. А может быть, я больше не хочу ничего обдумывать и составлять планы? Из моего горла вырвался произвольный смех.

– Что еще? – спросила белокурая женщина; в ее недовольном, плаксивом голосе обида боролась с возмущением.

– Невероятная ситуация, – сказал я. – Ни одна из вас даже представить себе не может, до какой степени невероятная.

То, как свободно я произнес эти слова, сделало чудеса, я снова стал самим собой. Так, верно, чувствует себя невидимка или чревовещатель.

– Не вижу ничего смешного в том, что я могу заразиться, – сказала белокурая женщина, – особенно сейчас. Мне не очень улыбается произвести на свет слепого ребенка или калеку, а это может случиться с любой женщиной в моем положении, если она заболит корью. Или ты имел в виду Париж? Там невероятная ситуация? Надеюсь, ради всех нас, что тебе удалось прийти к какому-то соглашению, хотя поверить этому трудно.

В ее вопрошающих глазах была укоризна. Я взглянул на вторую женщину. Ее лицо изменилось, бледные щеки залила краска, усилив ее красоту, но вид у нее был настороженный, и, прежде чем снова опустить взор на свою работу, она чуть заметно покачала головой, словно предупреждая о чем-то. Да, они с де Ге, несомненно, были союзниками, но в чем? И в каком родстве находились все трое? Неожиданно я решил сказать им правду, чтобы испытать собственное мужество и удостовериться, что я еще в здравом уме.

– На самом деле, – начал я, – я вовсе не Жан де Ге. Я встретился с ним в Ле-Мане прошлым вечером, и мы поменялись одеждой, и он исчез, уехал в моей машине бог знает куда, а я оказался здесь вместо него. Согласитесь, что это невероятная ситуация.

Я ожидал какой-нибудь вспышки от белокурой женщины, но она только снова вздохнула, глядя на тлеющее в камине полено, и, не обращая больше на меня внимания, зевнув, повернулась к брюнетке:

– Поль поздно вернется сегодня? Он мне ничего не сказал.

– После обеда в Ротари-клубе? Конечно поздно, – ответила та. – Ты видела, чтобы он хоть раз вернулся оттуда рано?

– Вряд ли он получит удовольствие от этого обеда, – сказала первая, – он и так был не в духе, а то, в каком виде Жан приехал домой, не улучшит его настроение.

Ни одна из них не смотрела на меня. Мои слова они сочли бестактной шуткой, такой плоской, что она не стоила ни внимания, ни ответа. Это показывало, насколько глубок был их самообман. Я мог вести себя как угодно, что угодно говорить и делать, они просто будут думать, будто я навеселе или спятил. Трудно описать охватившее меня чувство. Бешеная гонка на «рено» вызвала

лишь легкое опьянение, теперь же, когда я прошел проверку – разговаривал с родными моего двойника, даже целовал их, и они ничего не заподозрили, – ощущение моего могущества захлестнуло меня целиком. Я мог, если бы захотел, причинить этим чужим мне людям неисчислимый вред, перевернуть их жизнь, перессорить друг с другом, и мне было бы все равно, ведь для меня они куклы, посторонние, в моем истинном существовании им места нет. Интересно, признавал ли Жан де Ге, когда оставлял меня спящим в отеле Ле-Мана, какой опасности он их подвергает? Может быть, на самом деле его поступок вовсе не был легкомысленной выходкой, может быть, им руководило сознательное желание, чтобы я разрушил его семью и дом, которые, по его словам, держат его в плену.

Я почувствовал на себе взгляд черноволосой женщины – мрачный, подозрительный взгляд.

– Почему вы не подниметесь наверх, как предложила Франсуаза? – сказала она.

Она держалась странно. Казалось, она боится, как бы я не сказал что-нибудь невпопад, и хочет, чтобы я поскорей ушел.

– Прекрасно, – сказал я. – Ухожу. – И затем добавил: – Вы обе были правы. Я слишком много выпил в Ле-Мане. Провалился бесчувственной колодой в отеле весь день.

То, что это была правда, придавало особую пикантность обману. Женщины пристально смотрели на меня. Обе молчали. Я пересек комнату и через полуотворенную дверь вышел в холл. Я услышал, как за моей спиной женщина по имени Франсуаза разразилась потоком слов.

В холле было пусто. Я задержался у второй двери по другую сторону шифоньера – до меня донеслись приглушенные звуки: лилась вода, бренчала посуда – видимо, где-то там была кухня. Я решил подняться по лестнице. Первый ее марш привел меня к длинному коридору, идущему в обе стороны от площадки; следующий пролет вел на третий этаж. Я остановился в нерешительности, затем повернул налево. Коридор освещала одна тусклая лампочка без абажура. Я шел крадучись вдоль стены, и меня все сильнее билась нервная дрожь. Под ногами скрипели половицы. Подойдя к самой дальней двери, я протянул руку и приоткрыл ее. За дверью было темно. Я нащупал выключатель. При свете

вспыхнувшей лампы я увидел высокую мрачную комнату: окна были закрыты темно-красными портьерами, над узкой односпальной кроватью, покрытой таким же темно-красным покрывалом, висела большая репродукция «Ессе Ното»[13 - «Се человек» - название картин, где Христос изображен в терновом венце.] Гвидо Рени. По форме комнаты я понял, что она расположена в одной из башен, полукруглые окна образовывали нечто вроде алькова, и это углубление было приспособлено для молитвы: здесь висело распятие, стояла чаша со святой водой, скамеечка для коленопреклонения. Ничто не украшало эту крошечную келью. В остальной части комнаты я увидел, кроме тяжелого комода и платяного шкафа, бюро и стол со стульями - не очень уютное сочетание спальни и гостиной. Напротив кровати была еще одна картина на религиозный сюжет - репродукция «Бичевания Христа», на стене у двери, возле которой я стоял, другая - «Христос, несущий крест». Мне стало зябко, казалось, здесь никогда не топят. Даже запах здесь был неприятный: смесь мастики и пыли от тяжелых портьер.

Я погасил свет и вышел. Идя по коридору, я увидел, что за мной следят. С верхнего этажа спустилась какая-то женщина и теперь, остановившись на площадке, смотрела на меня.

- *Bonsoir, monsieur le comte*[14 - Добрый вечер, господин граф (фр.)], - сказала она. - Вы ищете мадемуазель Бланш?

- Да, - быстро ответил я, - но в комнате ее нет.

Было неудобно к ней не подойти. Маленькая, тощая, немолодая, она, судя по платью и манере говорить, была одной из служанок.

- Мадемуазель Бланш наверху, у госпожи графини, - сказала она, и я подумал, уж не почуяла ли она инстинктивно что-нибудь неладное, потому что в глазах ее были любопытство и удивление и она то и дело посматривала через мое плечо на дверь комнаты, из которой я только что вышел.

- Неважно, - сказал я, - увижу ее позднее.

- Что-нибудь случилось, господин граф? - спросила она; взгляд ее стал еще более испытующим, а голос звучал доверительно, даже несколько фамильярно, точно я скрывал какую-то тайну, которой должен был поделиться с ней.

- Нет, - сказал я, - с чего бы?

Она отвела от меня взор и посмотрела в конец коридора на закрытую дверь.

- Прошу прощения, господин граф, - сказала она, - просто подумала, раз вы зашли к мадемуазель Бланш, значит что-нибудь случилось.

Ее глаза снова метнулись в сторону. В ней не было тепла, не было любви, ни капли веры в меня, которые я видел у Гастона, и вместе с тем чувствовалось, что между нами есть давняя и тесная связь какого-то малоприятного свойства.

- Надеюсь, поездка господина графа в Париж была успешной? - спросила она, и в том, как она это сказала - отнюдь не любезно, был намек на какие-то мои возможные промахи, которые навлекут на меня нарекания.

- Вполне, - ответил я и хотел было пойти дальше, но она остановила меня:

- Госпожа графиня знает, что вы вернулись. Я как раз шла вниз, в гостиную, чтобы сказать вам об этом. Лучше бы вы поднялись к ней сейчас, не то она не даст мне покоя.

Госпожа графиня... Слова звучали зловеще. Если я - господин граф, то кто же она? Во мне зародилась смутная тревога, уверенность стала покидать меня.

- Зайду попозже, - сказал я, - время терпит.

- Вы и сами прекрасно знаете, господин граф, что она не станет ждать, - сказала женщина, не сводя с меня черных пытливых глазок.

Выхода не было.

- Хорошо, - сказал я.

Служанка повернулась, и я пошел следом за ней вверх по длинной винтовой лестнице. Мы вышли в точно такой же коридор, как внизу, от которого отходил второй, перпендикулярно первому, и сквозь приотворенную, обитую зеленым

сукном дверь я заметил лестницу для прислуги, откуда доносился запах еды. Мы миновали еще одну дверь и остановились перед последней в коридоре. Женщина открыла ее и, кивнув мне, словно подавая сигнал, вошла, говоря кому-то внутри:

– Я встретила господина графа на лестнице. Он как раз поднимался к вам.

Посредине огромной, но до того забитой мебелью комнаты, что с трудом можно было протиснуться между столами и креслами, возвышалась большая двуспальная кровать под пологом. От пылающей печки с распахнутыми дверцами шел страшный жар; войдя сюда из прохладных нижних комнат, было легко задохнуться. Ко мне, звеня колокольцами, привешенными к ошейникам, с пронзительным лаем бросились два фокстерьера и стали кидаться под ноги.

Я обвел комнату глазами, стараясь получше все разглядеть. Здесь было три человека: высокая худая женщина, которая вышла из гостиной, когда я туда вошел, рядом с ней старый седой кюре в черной шапочке на макушке – его славное круглое лицо было розовым и совершенно гладким, а за ним, чуть не вплотную к печке, в глубине высокого кресла сидела тучная пожилая дама; ее щеки и подбородок свисали множеством складок, но глаза, нос и рот так поразительно и так жутко напоминали мои, что у меня на секунду мелькнула дикая мысль: уж не приехал ли Жан де Ге в замок и теперь венчает свою шутку этим маскарадом?

Старуха протянула ко мне руки, и я, влекомый к ней точно магнитом, непроизвольно опустился на колени перед креслом и тут же утонул в удушающей, обволакивающей горе плоти и шерстяных шалей; на миг я почувствовал себя мухой, попавшей в огромную паутину, и вместе с тем был зачарован нашим сходством, еще одним подобием меня самого, только старым и гротескным, не говоря уж о том, что передо мной была женщина. Я подумал о своей матери, умершей давным-давно, – мне тогда было лет десять, – и образ ее, туманный, тусклый, с трудом всплыл в памяти, в нем не было ничего общего с этим моим живым портретом, распухшим до неузнаваемости.

Руки ее стискивали меня в своих объятиях и в то же время отталкивали прочь, она шептала мне в ухо: «Ну-ну, полно, убирайся, мое большое дитя, мой шалун. Я знаю, ты опять развлекался».

Я отодвинулся и взглянул ей в глаза, почти скрытые тяжелыми веками и мешками внизу; это были мои собственные глаза, погребенные под плотью, мои собственные глаза, а в них – насмешка.

– Все, как обычно, были расстроены, что ты не вернулся вовремя, – продолжала она. – Франсуаза в истерике, у Мари-Ноэль жар, Рене дуется, Поль ворчит. Уф! Глядеть противно на всю эту публику. Одна я не волновалась. Я знала, что ты появишься, когда будешь готов возвратиться домой, и ни секундой раньше.

Она снова притянула меня к себе, тихо посмеиваясь, и похлопала по плечу, затем оттолкнула.

– Я – единственная в этом доме, кто не потерял веру, не так ли? – сказала она, обращаясь к кюре.

Тот улыбнулся ей, кивая головой; кивок следовал за кивком, и я понял, что это нервный тик, нечто вроде непроизвольного спазма, и вовсе не выражает его согласия. Это привело меня в замешательство, я отвел от него глаза и посмотрел на худую женщину – сама она ни разу с тех пор, как я вошел, не взглянула на меня; сейчас она закрывала книгу, которую держала в руках.

– Вы не хотите, чтобы я дальше читала вам, тапан, я не ошибаюсь? – сказала она; голос у нее был бесцветный, тусклый – мертвый голос.

Из слов служанки я понял, что это мадемуазель Бланш, в чью комнату я зашел ненароком, следовательно, она – старшая сестра моего второго «я». Графиня обернулась к кюре:

– Поскольку Жан вернулся, господин кюре, – сказала она учтивым и уважительным тоном, ничуть не похожим на тот, который звучал у меня в ушах, когда она, тихо посмеиваясь, обнимала меня, – как вы думаете, очень невежливо будет с моей стороны, если я попрошу вас освободить меня от нашей обычной вечерней беседы? Жану надо так много мне рассказать.

– Разумеется, госпожа графиня, – сказал кюре, благодаря благожелательной улыбке и непрерывным кивкам – само согласие; вот отказ на его губах, верно, будет звучать неубедительно. – Я прекрасно знаю, как вы соскучились по нему даже за это короткое время: у вас, должно быть, отлегло от сердца, когда он

вернулся. Я надеюсь, – продолжал он, поворачиваясь ко мне, – в Париже все прошло хорошо. Говорят, что уличное движение стало просто невозможным: чтобы добраться от площади Согласия до Notre-Dame[15 - Собор Парижской Богоматери (фр.)], уходит не меньше часа. Мне бы это вряд ли понравилось, но вам, молодежи, все нипочем.

– Зависит от того, – сказал я, – зачем ты приехал в Париж – по делу или для развлечения.

Если я вовлеку его в разговор, я буду в безопасности. Мне вовсе не улыбалось остаться наедине с моей мнимой матерью – без сомнения, она инстинктивно почувствует, что тут что-то не так.

– Именно, – сказал кюре, – и я надеюсь, что вы соединили одно с другим. Что ж, не буду вас дольше задерживать...

И, неожиданно соскользнув с кресла на колени, он закрыл глаза и стал быстро-быстро шептать молитву; мадемуазель Бланш последовала его примеру, а графиня сложила ладони и опустила голову на массивную грудь. Я тоже встал на колени; фокстерьеры подбежали ко мне, втягивая носом воздух, и стали теревить карманы. Глянув уголком глаза, я заметил, что служанка, приведшая меня сюда, также преклонила колени и, крепко зажмурившись, произносит нараспев ответствия на вопросы в молитве кюре. Тот дошел до конца своего ходатайства перед Богом и, воздев руки, осенил всех присутствующих крестом, затем с трудом поднялся на ноги.

– Bonsoir, madame la comtesse, bonsoir, monsieur le comte, bonsoir, mademoiselle Blanche, bonsoir, Charlotte[16 - До свидания, госпожа графиня, до свидания, господин граф, до свидания, мадемуазель Бланш, до свидания, Шарлотта (фр.)], – сказал он, перемежая поклоны и кивки, его розовое лицо расплылось в улыбке.

Перед дверьми кюре и мадемуазель задержались, так как, состязаясь в учтивости, они настойчиво пропускали друг друга вперед; наконец кюре вышел первым, сразу же следом за ним, низко опустив голову, как церковный прислужник, мадемуазель Бланш.

В углу комнаты Шарлотта смешивала какие-то лекарства; подойдя к нам со стаканом, она спросила:

- Господин граф тоже будет здесь обедать, как обычно?

- Разумеется, идиотка, - сказала графиня. - И я не собираюсь пить эту дрянь. Выплесни ее. Пойди принеси подносы с обедом. Ступай!

Она нетерпеливо указала рукой на дверь, лицо ее сморщилось от раздражения.

- Подойди ко мне. Ближе, - сказала она, подзывая меня и указывая рукой, чтобы я сел рядом; собачонки вспрыгнули ей на колени и улеглись там. - Ну как, удалось тебе? Ты договорился с Корвале?

Это был первый прямой вопрос, заданный мне в замке, от которого я не мог отшутиться или отделаться какой-нибудь незначущей фразой.

Я проглотил комок в горле.

- Что удалось? - спросил я.

- Возобновить контракт, - сказала она.

Значит, Жан де Ге ездил в Париж по делу. Я вспомнил, что в бьюаре письменных принадлежностей, который был в одном из чемоданов, я видел конверты и папки. Его приятель, окликнувший меня у станции, намекнул, что поездка не удалась. Дело, по видимости, было серьезным, а выражение глаз графини снова напомнило мне слова Жана де Ге о человеческой алчности: «...главное - утолить ее... дать людям то, чего они хотят...» Раз это его кредо, он, несомненно, удовлетворил бы сейчас желание матери.

- Не волнуйтесь, - сказал я, - я все уладил.

- Ах, - она облегченно пробормотала что-то, - тебе действительно удалось столкнуться с Корвале?

- Да.

– Поль такой болван, – сказала она, устраиваясь поудобней в кресле, – вечно брюзжит, вечно недоволен, все представляет в черном цвете. По его словам, мы полностью разорены и должны прямо завтра ликвидировать дело. Ты уже видел его?

– Когда я приехал, – сказал я, – он как раз собирался в город.

– Но ты сообщил ему новости?

– Нет, он спешил.

– Столько ждал, мог бы и еще подождать, чтобы их услышать, – ворчливо проговорила она. – Что с тобой? Ты болен?

– Я слишком много пил в Ле-Мане.

– В Ле-Мане? Зачем пить в Ле-Мане? Ты что, не мог задержаться в Париже, если тебе хотелось отметить свой успех?

– В Париже я тоже пил.

– Ах! – На этот раз в ее вздохе было сочувствие. – Бедный мальчик, – сказала она. – Тебе здесь трудно, да? Надо было остаться подольше и позабавиться всласть. Подойди, поцелуй меня снова. – Она притянула меня к себе, и я опять был погребен под оплывшими складками ее тучного тела. – Надеюсь, ты весело провел время, – понизив голос, сказала она. – Весело, да?

Намек в ее голосе был достаточно прозрачным. Но это не вызвало во мне отвращения, напротив, меня позабавило, даже заинтриговало то, что эта чудовищно похожая на меня туша, которая только что молилась вместе с кюре, хочет разделить интимные секреты сына.

– Естественно, я хорошо повеселился, тапан, – сказал я, отодвигаясь от нее; я заметил, что назвать ее «тапан» не стоило мне усилий. Как ни странно, это поразило, мало того – ужаснуло меня больше, чем все, что говорила она сама.

– Значит, ты привез мне подарочек, который обещал?

Глаза ее совсем утонули в веках, тело напряглось от ожидания. Внезапно атмосфера в комнате неуловимо изменилась, стала накаленной. Я не знал, что ей ответить.

– Разве я обещал вам подарок? – спросил я.

Подбородок ее обмяк, челюсть отвисла, глаза глядели на меня с такой жгучей мольбой, с таким страхом, каких я не мог и представить минуту назад.

– Ведь ты не забыл? – сказала она.

К счастью, мне не пришлось отвечать – да и что я мог ей ответить? – так как в комнату вошла Бланш. Мать тут же изменила выражение лица, точно надела маску. Наклонившись к собакам, лежавшим у нее на коленях, она принялась их ласкать.

– Полно, полно, Жужу, перестань кусать свой хвост, веди себя хорошо, пожалуйста. Отодвинься немного, Фифи, ты разлеглась на обоих коленях. Ну-ка, пойді к своему дяде.

Она всунула мне в руки ненужную мне собачонку, та извивалась и корчилась, пока не вырвалась от меня, и забилась под огромное кресло матери.

– Что такое с Фифи? – удивленно сказала та. – Она никогда раньше от тебя не убегала. Взбесилась она, что ли?

– Оставьте ее, – сказал я. – Она чувствует дорожный запах.

Животное не поддавалось обману. Это было любопытно. В чем заключалось мое чисто физическое различие с Жаном де Ге? Графиня снова откинулась на спинку кресла и мрачно смотрела на дочь. Та застыла, прямая как палка, руки – на спинке стула, глаза устремлены на мать.

– Я правильно поняла – сюда требуют подать два подноса с обедом? – сказала она.

- Да, - отрывисто бросила мама, - Жану приятней обедать тут, со мной.

- Вы не думаете, что и так уже достаточно возбуждены?

- Ничего подобного. Я совершенно спокойна, как ты видишь. Тебе просто хочется испортить нам удовольствие.

- Я никому ничего не хочу портить. Я думаю о вашем благе. Если вы перевозбудитесь, вы не сможете уснуть, и завтра, как уже бывало не раз, вас ждет тяжелый день.

- У меня будет еще более тяжелый день и тяжелая ночь, если Жан сейчас уйдет.

- Хорошо, - невозмутимо произнесла Бланш; говорить сейчас больше было не о чем, и она принялась прибирать разбросанные повсюду газеты и книги; меня вновь поразил ее монотонный, бесстрастный голос. Ни разу за все время она не взглянула в мою сторону, словно меня вообще не было в комнате. На вид я дал бы ей года сорок два - сорок три, но могло быть и меньше, и больше. Единственным украшением ее одежды - черная юбка и джемпер - был висевший на цепочке крест. Она поставила рядом с креслом матери обеденный столик.

- Шарлотта уже дала вам лекарство? - спросила она.

- Да, - ответила мать.

Дочь села подальше от гудящей печки и взяла в руки вязанье. Я заметил на столе молитвенник в кожаном переплете и Библию.

- Почему ты не уходишь? - выйдя из терпения, внезапно спросила мать. - Ты нам не нужна.

- Я жду, пока Шарлотта принесет обед, - последовал ответ.

Они обменялись всего несколькими фразами, и я сразу же встал на сторону матери. Почему - трудно сказать. То, как она держалась, было не очень похвально, и все же она вызывала во мне симпатию, а дочь - наоборот. Я

подумал: уж не потому ли мне так нравится мать, что она похожа на меня?

- У Мари-Ноэль опять были видения, - сказала графиня.

Мари-Ноэль... Кто-то внизу, в гостиной, упомянул, что у Мари-Ноэль температура. Кто она - еще одна набожная сестра? Я чувствовал, что от меня ждут отклика.

- Наверно, потому, что у нее жар, - сказал я.

- Нет у нее никакого жара. Она вообще не больна, - сказала графиня. - Просто она любит быть в центре внимания. Что такое ты ей сказал перед тем, как уехал в Париж? Это очень ее расстроило.

- Ничего я ей не говорил, - ответил я.

- Ты забыл. Она без конца твердила Франсуазе и Рене, что ты не вернешься. И не только ты сказал ей это, но и Святая Дева. Не так ли, Бланш?

Я взглянул на молчавшую сестру. Она перевела бледные глаза с пощелкивающих спиц на мать; на мать, не на меня.

- Если у Мари-Ноэль бывают видения, - сказала она, - а я, в отличие от всех вас, в это верю, пора отнестись к ним серьезно. Я уже давно твержу об этом, и кюре со мной согласен.

- Глупости, - возразила ей мать. - Я как раз сегодня беседовала насчет девочки с кюре. Он говорит, это довольно распространенная вещь, особенно среди бедняков. Возможно, Мари-Ноэль наслушалась этого от Жермен. Я спрошу Шарлотту. Шарлотта все знает.

На лице Бланш не отразилось никаких чувств, но губы ее сжались.

- Не надо забывать, - сказала она, - что кюре не делается моложе, он теряется, когда с ним заговаривают сразу несколько человек. Если видения не прекратятся, я напишу епископу. Он найдет, что нам посоветовать, и я не сомневаюсь в том, каков будет его совет.

- Каков же? - спросила мать.

- Он посоветует, чтобы Мари-Ноэль жила среди людей, которые не станут растлевать ее душу, там, где она сможет положить свой дар на алтарь Всевышнего для его вящей славы.

Я ждал, что последует взрыв, но графиня, ничего не сказав, погладила собачонку у себя на коленях и, вынув из бумажного кулька сбоку кресла облитую глазурью конфету, сунула ей в зубы.

- Ешь, ешь... Вкусно, да? - сказала она. - Где Фифи? Фифи, хочешь конфетку?

Второй терьер выбрался из-под кресла и, вспрыгнув ей на колени, стал тыкаться носом в кулек.

- Ты дурочка, Бланш, - продолжала графиня. - Если уж в нашей семье заведется святая, будем держать ее дома. Это открывает большие возможности. Что нам мешает превратить Сен-Жиль в центр паломничества? Естественно, без одобрения епископа и церкви тут не обойтись, но, пожалуй, об этом стоит подумать. Наконец-то появятся деньги, чтобы починить крышу нашей церкви. От «Защиты памятников» помощи не жди.

- Душа Мари-Ноэль важнее, чем крыша церкви, - сказала Бланш. - Если бы это было в моей власти, она завтра же покинула бы замок.

- Ты завистлива, вот в чем твоя беда, - сказала мать, - ты завидуешь ее хорошенькому личику, ее большим глазам. Наступит день, и Мари-Ноэль забудет о всех этих видениях, она захочет иметь мужа.

Графиня толкнула меня локтем в бок. Я не удивился, что Бланш молчит.

- Не так ли, Жан? - сказала мать.

- Возможно, - ответил я.

- Дай бог, чтобы я успела увидеть свадьбу. Он должен быть богат...

В комнату вошла Шарлотта с подносом в руках, следом – маленькая краснощекая *femme de chambre*[17 - Горничная (фр.)] лет восемнадцати; увидев меня, она покраснела, хихикнула и, сказав: «*Bonsoir, monsieur le comte*»[18 - Добрый вечер, господин граф (фр.)], поставила поднос с моим обедом на столик. Я тоже пожелал ей доброго вечера.

Бланш поднялась, отложив в сторону вязанье.

– Вы хотите видеть Франсуазу или Рене перед тем, как ляжете спать? – спросила она.

– Нет, – ответила ей мать. – Они обе пили у меня чай. Я буду хорошо спать, раз Жан вернулся, и не желаю, чтобы меня беспокоили, в особенности – ты.

Бланш подошла к матери и, поцеловав, пожелала спокойной ночи. Затем вышла из комнаты, так и не заговорив со мной и ни разу на меня не взглянув. Интересно, что сделал Жан де Ге, чтобы вызвать такую обиду? Я открыл супницу на своем подносе. Запах казался аппетитным, а я был голоден. Маленькая горничная, которую Шарлотта назвала Жермен, вышла следом за Бланш, но Шарлотта осталась и теперь из глубины комнаты наблюдала, как мы едим.

Подстегиваемый любопытством, я отважился задать матери вопрос:

– Что такое с Бланш?

– Ничего особенного, – ответила она. – Во всяком случае, сегодня она меньше действовала мне на нервы, чем обычно. Ты заметил, она не набросилась на меня, когда я сказала, что иметь в семье святую открывает большие возможности?

– Она, верно, была возмущена, – сказал я.

– Возмущена? Ты хочешь сказать «восхищена»? Сам увидишь, она постарается реализовать эту мысль. Если видения Мари-Ноэль покроют отраженной славой саму Бланш и Сен-Жиль, что может быть лучше? У Бланш появится цель в жизни... Шарлотта, ты здесь? Убери супницу, я больше не хочу. И дай господину Жану вино... Почему ты не рассказываешь мне о Париже, Жан? Ты еще ничего не рассказал.

Я стал рыться в памяти, стараясь представить себе Париж. Во время последнего отпуска я там не был, да к тому же то, что я знал и любил – музеи, исторические здания, – вряд ли было интересно графине. Я принялся рассказывать о ресторанах, что было ей понятно, о ценах, что понравилось ей еще больше, а затем, словно по наитию свыше, о воображаемых посещениях театра и встрече с друзьями военных лет – она сама подсказывала мне их имена, и это сильно меня выручало. К тому времени как мы кончили есть – а поели мы хорошо – и Шарлотта забрала подносы, я чувствовал себя с графиней свободней, чем с кем-либо другим когда-либо в жизни. Причина была проста: она шла мне навстречу, принимала меня таким, какой я есть, любила меня, верила мне, полагалась на меня; в подобной ситуации я еще не бывал. Если бы мы встретились как посторонние люди, нам нечего было бы сказать друг другу. Как ее сын, я мог не бояться, что мои слова вызовут у нее неодобрение. Я смеялся, шутил, болтал чепуху, и непривычная свобода доставляла мне неизъяснимое наслаждение. Пока графиня не спросила меня, когда Шарлотта вышла из комнаты:

– Жан, ты ведь не мог забыть о подарочке для меня? Ты просто шутил, да?

И снова – отвисшая челюсть, молящие глаза. Перемена была разительной. Куда исчезли злой юмор, чертики в глазах, вспыльчивость, непринужденная веселость и сердечное тепло? Передо мной, крепко вцепившись мне в руки, сидело жалкое, дрожащее создание. Я не знал, что сказать, что сделать. Я поднялся, подошел к дверям и позвал:

– Шарлотта, где вы?

Собачонки, разбуженные моим голосом, соскочили с колен графини на пол и принялись яростно лаять.

Шарлотта тут же вышла из соседней комнаты, и я сказал:

– Госпоже графине нехорошо. Лучше пойдите к ней.

Она взглянула на меня и спросила:

– Вы разве не привезли ей это?

- Что - это? - недоумевающе проговорил я; она пристально на меня посмотрела, чуть прищурив глаза.

- Вы сами знаете, господин граф, что вы обещали привезти из Парижа.

Я попытался представить содержимое чемоданов и вспомнил пакеты, похожие на подарки. Что в них было, я не знал, не знал я и того, где они сейчас находились.

Шарлотта сказала быстро:

- Идите и скорей найдите это, господин граф. Иначе она будет страдать.

Я прошел по коридору, спустился по винтовой лестнице на второй этаж и снова остановился на площадке, не зная, куда повернуть. Слева из какой-то комнаты раздался звук льющейся воды, и я неуверенно двинулся по коридору, пока не увидел полуоткрытую дверь рядом с дверью, которая, по-видимому, вела в ванную; там кто-то ходил, и я зашел в следующую комнату, благо двери стояли настежь, а внутри никого не было. Я быстро обвел ее глазами и, к своему облегчению, увидел, что мне повезло. Я попал в небольшую гардеробную и узнал халат, брошенный на стул, и щетки для волос. Кто-то уже вынул вещи и убрал чемоданы, но на столе аккуратно, рядком, как подарки под елкой, лежали пакеты, которые я видел в одном из них. Я вспомнил, что на каждом была записка, подсунутая под ленточку. Тогда, когда я впервые видел их, они ничего мне не сказали, но теперь за всеми этими «Ф», «Р», «Б», «П» и «М-Н» стояло определенное имя. Среди них был пакет, адресованный татап, в простой оберточной бумаге, без затейливой упаковки, на бечевке - печать. Я взял его, вышел из комнаты и снова поднялся по лестнице.

Шарлотта уже ждала меня на площадке.

- Принесли? - спросила она.

- Да, - ответил я. - Она хочет, чтобы я сам дал это ей?

Служанка снова пристально взглянула на меня и ответила:

– Нет, нет... – словно мои слова удивили и обидели ее. Взяв пакет у меня из рук, она сказала: – Спокойной ночи, господин граф. – Затем быстро пошла от меня по коридору.

Отказ от моих услуг, должно быть, означал, что во мне больше не нуждались, и я снова медленно направился в гардеробную комнату, спрашивая себя, как понять внезапный конец моего визита. Возможно, у графини какое-то психическое расстройство... бывают припадки... Шарлотта и Жан де Ге знают, как ей помочь, а остальные члены семейства, вероятно, нет. Я надеялся, что содержимое пакета – неважно, что это, – принесет ей облегчение. Графиня казалась вполне нормальной, вполне владела собой – я не говорю о ее нраве. Нет, она не произвела на меня впечатления душевнобольной.

Я зашел в гардеробную и остановился, почувствовав вдруг, как я устал и подавлен. Передо мной стояло лицо графини. Я не знал, что предпринять, и тут из ванной раздался голос:

– Ты уже пожелал татап доброй ночи?

Я узнал его, это был голос Франсуазы, белокурой поблекшей женщины, и я впервые заметил, что из гардеробной в ванную ведет дверь, прикрытая от меня большим шкафом. Должно быть, она услышала, как я вошел. У меня мелькнула тревожная мысль. В гардеробной, естественно, не было кровати. Где, интересно, спит Жан де Ге?

– Ты здесь, Жан? – снова позвал голос. – Я подумала, ты захочешь принять ванну, и напустила воду. – Голос зазвучал глуше, точно она вышла в другую комнату.

Я пошел в ванную. Судя по всему, ею пользовались двое. Две губки, две коробочки с зубным порошком, два полотенца... Я узнал бритвенный прибор, но тут же увидел резиновую шапочку, женские шлепанцы и купальный халат, висящий на двери.

Я стоял совершенно неподвижно, боясь, что меня услышат. Раздался щелчок выключателя, вздох, затем плачущий голос:

– Почему ты не отвечаешь, когда я обращаюсь к тебе?

Я собрался с духом и перешагнул порог. Передо мной была спальня той же величины и формы, что у сестрицы Бланш, но веселей, со светлыми узорными обоями и без картин на духовные сюжеты. В алькове вместо аналоя стоял туалетный столик с зеркалом и канделябрами. Напротив алькова была большая двуспальная кровать без полога. В ней, опершись спиной о подушки, полулежала женщина по имени Франсуаза – волосы накручены на папильотки, на плечах воздушная розовая ночная кофточка. Казалось, женщина внезапно съежилась, стала меньше, чем выглядела в гостинной.

Она сказала по-прежнему жалобно, по-прежнему обиженно:

– Конечно, ты не мог не просидеть весь вечер наверху... Хоть бы ты когда-нибудь подумал обо мне... Даже Рене, которая всегда на твоей стороне, сказала, что ты становишься невозможным.

Я перевел глаза с ее усталого, хмурого лица на пустую подушку на другой стороне кровати. Узнал дорожные часы на столике и пачку сигарет. Даже полосатая пижама, в которой я спал в отеле, была аккуратно сложена на подвернутой простыне.

Я по глупости думал, будто Франсуаза – жена Поля, а я, то есть Жан де Ге, – ее брат. У меня упало сердце, когда я понял, что он был, напротив, ее мужем.

Глава 5

Моим первым безотчетным движением – автоматическим и нелепым – было забрать с постели пижаму; я подошел к кровати, не глядя на Франсуазу, схватил вещи и направился в ванную. К моему ужасу, Франсуаза заплакала, говоря сквозь слезы о том, что я ее не люблю, что она несчастна и что татап всегда встает между нами. Я ждал в ванной, пока она не утихнет. Наконец она высморкалась, и я услышал приглушенное всхлипывание и прерывистые вздохи, которые обычно следуют за слезами, когда человек пытается взять себя в руки. При мысли о том, что она может слезть с постели и пойти следом за мной, я пришел в полное расстройство и, захлопнув дверь в спальню, запер ее, ощущая, что, по-видимому, правильно играю свою роль. Именно так поступил бы Жан де Ге, если бы ему было стыдно, или скучно, или и то и другое вместе. Я опять

рассердился, как тогда, в отеле, когда был вынужден надеть его одежду. Как бы он смеялся, если бы видел сейчас меня, нелепую фигуру с его пижамой в руке, увидел, как я прячусь в ванной, в то время как рядом, в спальне, лежит в постели его жена. Та самая ситуация, что вызывает в театре взрывы смеха, и я подумал о том, как близко от комического до ужасного и отвратительного. Мы смеемся, чтобы укрыться от страха, нас привлекает то, что внушает нам омерзение. В альковных сценах фарса публика хохочет и визжит от восторга как раз потому, что отвращение, с которым мы ждем развязки, щекочет нам нервы. Интересно, предвидел ли Жан де Ге этот момент или думал, подобно мне, когда я ехал в замок, что через час-другой пьеса будет доиграна, маскарад подойдет к концу. Возможно, ему и в голову не приходило, что я поступлю так, как я поступил. И все же наш разговор накануне, мои стенания о том, что жизнь моя пуста и ничто не привязывает меня к людям, давали ему прекрасный шанс сказать со смехом: «Что ж, поживите моей жизнью!»

Если он действительно хотел сбежать и сделать меня козлом отпущения, это доказывает, что ему не дорог никто в замке. Мать и жена, нежно его любившие, ничего для него не значат. Ему безразлично, что с ними станет, да и с остальными тоже; я могу делать с ними все, что захочу. Если учесть все обстоятельства, маскарад был мало сказать жестоким – бесчеловечным. Я закрыл капающий кран и перешел в гардеробную. На смену душевному подъему, внутренней свободе, которые я испытывал во время обеда с графиней, пришло уныние, как только у нее изменилось настроение. Я мог бы выкинуть из мыслей ее искаженное страданием лицо – еще одно звено в цепи событий этого фантастического вечера, – а я поспешил утешить ее, побыстрее найти пакет и передать его Шарлотте. Сейчас, догадавшись, что плачущая Франсуаза – жена де Ге, я ее тоже хотел утешить: ее слезы огорчали меня. Внизу, в гостиной, эти люди казались мне нереальными, но здесь, каждый из них в отдельности, они были беззащитны и возбуждали во мне жалость. Тот факт, что сами, не сознавая того, они были невинными жертвами практической шутки, больше не казался мне смешным. К тому же я не был до конца уверен, что это шутка. Скорее, своего рода проверка моих сил, испытание стойкости и долготерпения, точно Жан де Ге сказал мне: «Ладно. Я позволил семье завладеть мной. Посмотрим, что удастся вам на моем месте».

Я подошел к столу и взял пакет с буквой «Ф». Маленький, твердый, он был в нарядной оберточной бумаге. С минуту я стоял, взвешивая его в руке, затем неторопливо прошел через ванную и подошел к двери. В спальне было темно.

– Ты не спишь? – спросил я.

С постели донесся шорох, затем зажегся свет; Франсуаза сидела на кровати, глядя на меня. Папильотки скрывал ночной чепчик из тюля, завязанный под подбородком розовым бантом, вместо ночной кофточки на плечах была шаль. Наряд этот плохо сочетался с ее бледным усталым лицом. Она зевнула и посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц.

– А что? – спросила она.

Я подошел к ней.

– Послушай, – сказал я, – прости, если я был сейчас груб. Матап вдруг стало плохо, и я встревожился. Я бы раньше спустился, но ты сама знаешь, как с ней трудно. Погляди, что я купил тебе в Париже.

Она недоверчиво взглянула на пакетик, который я сунул ей в руку, затем уронила его на одеяло, вздохнула.

– Пусть бы это случалось время от времени, – сказала она, – тогда ладно, но это бывает так часто, каждый день, всегда. Порой мне кажется, что матап меня ненавидит, и не только матап, все вы – Поль, Рене, Бланш. Даже Мари-Ноэль не питает ко мне никаких нежных чувств.

Видно было, что она не ждет ответа, и слава богу, потому что у меня не было слов.

– Вначале, когда мы только поженились, все было иначе, – продолжала она. – Мы были моложе, страна освободилась после оккупации, жизнь сулила нам так много. Я чувствовала себя такой счастливой. А затем, мало-помалу, это чувство ушло. Я не знаю, чья это вина – моя или твоя.

Измученное лицо под уродливым тюлевым чепцом, в упор смотрящие на меня глаза, в которых потухла надежда.

– Рано или поздно это происходит со всеми, – медленно сказал я. – Муж и жена привыкают друг к другу, принимают друг друга как должное. Это неизбежно, у

тебя нет никаких оснований чувствовать себя несчастной.

– О, я говорю не о том, – прервала она. – Я знаю, что мы принимаем друг друга как должное. Меня бы все это не трогало, если бы ты был моим. Но здесь все важнее, чем мы. Я делю тебя со множеством людей, и, что самое ужасное, ты даже не замечаешь этого, тебе все равно.

Обед с графиней не представлял трудностей, но сейчас... Я не знал, что сказать.

– Здесь все давит на меня, – продолжала Франсуаза, – замок, семья, даже природа. Мне кажется, меня душат. Я уже давно бросила попытки вмешиваться во что-нибудь: отдавать приказания по хозяйству, менять здесь что-то – твои родственники ясно дали мне понять, что это не мое дело. В замке все должно идти своим чередом. Единственное, на что я отважилась за последние месяцы, это заказать материю на новые занавески в спальне и рюш для туалетного столика, и даже их сочли слишком экстравагантными. Но тебе этого не понять.

Она продолжала сидеть, подняв на меня глаза, и я догадался, что от меня ждут хоть какого-то извинения.

– Мне очень жаль, – сказал я, – но ты и сама знаешь, как это получается. Здесь, в провинции, мы живем по старинке, поступаем как заведено.

– Как заведено? Уж кому говорить об этом, только не тебе. Ты уезжаешь когда вздумается под тем предлогом, что у тебя дела. Это ты живешь по старинке, ты сидишь изо дня в день дома, как я?! Ты ни разу не предложил взять меня с собой. Всегда речь идет о «как-нибудь потом» или «в следующий раз». Я уже привыкла к твоим отговоркам и даже не прошу. К тому же сейчас это все равно было бы невозможно, я слишком плохо себя чувствую.

Она пощупала мой подарок, так и не развязав, и я подумал, что в таких обстоятельствах муж обязательно пожалел бы ее, успокоил, утешил, но я совсем не представлял себе, что может испытывать будущая мать. Неожиданно она сказала – просто, не жалуясь, не обвиняя:

– Жан, я боюсь.

Я снова не знал, как ей ответить. Я взял у нее из рук пакетик и принялся его разворачивать.

– Ведь ты слышал слова доктора Леброна, когда я потеряла последнего. Это не так легко для меня.

Что я мог сказать, что сделать? Какой от меня толк? Я развязал ленточку, развернул бумагу, в которую была упакована коробочка, и вынул из нее небольшой бархатный футляр. Я открыл его и увидел медальон, обрамленный жемчугом; когда я нажал на пружину и крышка открылась, внутри оказался миниатюрный портрет меня самого, вернее, Жана де Ге. Носить медальон можно было и как зажим, и как брошь, так как на обратной стороне была золотая застежка. Хорошо придумано, еще лучше сработано, и стоило тому, кто купил эту безделушку, немалых денег.

Франсуаза вскрикнула от удивления и восторга:

– Ах, какая прелесть! Как красиво! И как мило с твоей стороны подумать об этом. Я ворчу, жалуясь, всем недовольна... а ты привозишь мне такой чудесный подарок... Прости меня. – Она протянула ладони к моему лицу. Я принужденно улыбнулся. – Ты так добр, так терпелив со мной. Будем надеяться, что скоро все кончится и я снова стану похожа на себя. Когда я говорю с тобой, я слышу, как с моих губ срываются слова, которые я вовсе не хочу произносить, и мне становится стыдно, но удержаться я не могу.

Она защелкнула крышку медальона, затем снова открыла его, и так несколько раз, радуясь невинному фокусу. Затем приколола медальон к шали.

– Видишь, – сказала она, – я ношу своего мужа на сердце. Если теперь кто-нибудь спросит меня: «Где Жан?», я просто открою медальон. Ты здесь очень похож. Миниатюра, верно, скопирована с той фотографии на старом удостоверении личности, которая так мне нравилась. Ты специально заказывал ее для меня в Париже?

– Да, – ответил я. Возможно, так оно и было, но для меня это звучало низкой ложью.

– Поль страшно рассердится, когда его увидит, – сказала Франсуаза. – Значит, все в порядке и твоя поездка в результате оказалась удачной? Как это на тебя похоже – отпраздновать победу дорогим подарком. Знаешь, я чувствую себя так незащищенно, так беспомощно, когда Поль принимается говорить, что придется закрыть фабрику; я знаю, на что он намекает – что мои деньги заморожены таким нелепым образом. Вот если у нас родится мальчик... – Она откинулась назад, не переставая поглаживать приколотый к шали медальон. – Теперь я усну, – сказала она. – Не копайся. Если ты весь вечер проговорил с татан о делах, ты, должно быть, очень устал.

Она потушила свет, и я услышал, как она со вздохом снова устраивается на подушке.

Я вернулся в гардеробную, распахнул окно и высунулся наружу. Была светлая лунная ночь, ясная и холодная. Подо мной тянулся покрытый сорняками крепостной ров, темнели неровные, увитые плющом каменные стены, которые его обрамляли; за ними уходил вдаль запущенный парк; вернее, это раньше было парком, теперь он зарос травой, где паслись коровы, протаптывая тропинки, терявшиеся среди тенистых деревьев. Прямо перед окном стояло какое-то круглое строение, похожее на башни, охраняющие подъемный мост через ров. По его форме я догадался, что это *colombier* – старая голубятня, рядом с ней были детские качели с лопнувшей веревкой.

Над притихшей землей нависла смутная грусть; казалось, некогда здесь звучал смех, кипела жизнь, а теперь все это ушло, и тот, кто, подобно мне, смотрит в окно, испытывает лишь печаль и сожаление. Мертвая тишина нарушалась глухими прерывистыми звуками, точно откуда-то сверху редкими каплями падала в глубину вода; я высунулся из окна и вытянул шею, чтобы увидеть, откуда доносятся эти звуки, но так ничего и не увидел; изо рта ухмыляющейся горгульи, которая пялилась на меня с карниза башни, вода не текла.

В деревне за замком церковные часы пробили одиннадцать ударов – высокий, пронзительный звук, – и, хотя в нем не было той глубины, что в благовесте, доносившемся из собора в Ле-Мане, я услышал такое же предостережение, как там. Когда отзвучала последняя нота и затихла вдали, моя подавленность и тоска стали еще сильнее; голос рассудка, казалось, говорил мне: «Что ты тут делаешь? Выбирайся отсюда, пока не поздно».

Я открыл дверь в коридор и прислушался. Все было спокойно. Интересно, уснула ли уже графиня, успокоенная таинственным подарком, переданным Шарлотте, или все еще сидит сгорбившись в кресле? А что делает сестра Бланш – молится, стоя на коленях, или смотрит на бичуемого Христа? Я не мог забыть слов Франсуазы: «Жан, я боюсь». Они тронули меня до слез. Но говорились они не мне. Мне здесь не принадлежит ничего. Я здесь чужой. Мне нет места в их жизни.

Я пошел по коридору, спустился на первый этаж. Только я повернул ручку двери, чтобы выйти на террасу, как услышал за спиной шаги и, обернувшись, увидел на ступеньках лестницы черненькую Рене – в пеньюаре и домашних туфлях; волосы, днем зачесанные в высокую прическу, рассыпались по плечам.

– Куда вы? – шепнула она.

– Наружу, подышать свежим воздухом, – тут же солгал я. – Я не мог уснуть.

– Что с вами? – спросила она. – Я сразу догадалась, что все эти разговоры, будто вы устали с дороги и много выпили вчера, – просто отговорки для Франсуазы. Я слышала, как вы спустились от татап, и ждала, что вы зайдете, – я оставила дверь открытой. Вы разве не заметили?

– Нет, – сказал я.

Она недоверчиво взглянула на меня:

– Вы же не могли не понять, что я нарочно уговорила Поля поехать на этот обед, как только узнала о вашем возвращении. А теперь вечер потерян. В любую минуту он будет здесь.

– Очень жаль, – сказал я. – У татап накопилась куча новостей... уйти было просто невыносимо. Но ведь мы сможем поговорить завтра.

– Завтра? – отрывисто повторила она каким-то странным тоном. – Проведя в Париже десять дней, нетрудно подождать до завтра? Я могла бы догадаться. Верно, по той же причине вы не удосужились ответить на мои письма.

Стоя перед ней в дверях, я ломал голову над ее словами, но все усилия были тщетными; интересно, отразилось ли мое недоумение у меня на лице? Раньше, в гостинной, эта женщина показалась мне союзником, другом. Сейчас единомышленница чем-то недовольна, я догадывался, что в глубине души она кипит гневом. Хотелось бы мне знать, тревожно думал я, чья она жена или сестра и в чем заключается то дело, которое она так настоятельно хочет обсудить со мной наедине.

– Могу лишь повторить, что мне очень жаль, – снова сказал я. – Я не знал, что есть какая-то особая причина для нашей встречи. Надо было передать мне, чтобы я вышел, когда я был наверху у тапан.

– Это что – сарказм или вы на самом деле пьяны?

Ее злость действовала мне на нервы. Мать тронула мое сердце, жена тоже, хоть и по иной причине. На эту женщину, которая неожиданно встала между мной и спасением, у меня не было времени.

– Так можно простудиться, – сказал я, – почему вы не ложитесь?

Она пристально посмотрела на меня, затем, судорожно вздохнув, сказала:

– Mon Dieu[19 - Бог мой (фр.)], как я вас иногда ненавижу!

И, повернувшись ко мне спиной, пошла вверх по лестнице.

Я распахнул дверь на террасу и вышел. Как приятно было вдохнуть свежий, чистый воздух после затхлой атмосферы закупоренных на ночь и все же промозглых комнат! Под ногами захрустел гравий, затем начались ступени; я осторожно спустился вниз и пошел по подъездной дорожке. Я было направился к службам в крепостной стене возле рва, налево от замка, – судя по всему, это были конюшни и гараж, – когда в липовой аллее, спускающейся по холму, блеснул огонек. Должно быть, возвращался домой Поль. Я спрятался за кедром, возле которого как раз проходил, надеясь, что на меня не попал свет фар. Вот он пересек мост, въехал в ворота и свернул направо, по направлению к гаражу. Я слышал, как хлопнула дверца «рено», затем с шуршанием раздвинулись в стороны двери гаража. Через одну-две минуты раздались шаги, и Поль прошел на террасу, совсем близко от меня. Поднялся по ступеням, вошел

в дверь, захлопнув ее за собой.

Некоторое время я не шевелился. Ждал. Потом вышел из укрытия и осторожно двинулся к стене у рва. Не доходя нескольких шагов до арки, под которой проехал Польш, я услышал тихое рычание. И тут я заметил, что возле ворот в стене была ниша, а в ней – большой охотничий пес; увидев меня, он яростно залаял. Я попробовал его унять, но это мне не удалось: звук моего голоса привел его в еще большую ярость; я снова спрятался за кедр, где не был ему виден, чтобы он успокоился и я мог обдумать, что делать дальше. Лай длился бесконечно, затем перешел в рычание и наконец смолк, и я рискнул выйти и осмотреться. Надо мной под ясным светом луны, тускло поблескивая, возвышались массивные стены замка, грозные и все же прекрасные. Дверь в стене вела в парк, что-то заставило меня пройти через нее; остановившись, я глядел на осевший ров и лужайку за ним, где вечером паслись коровы, на еле видные тропинки, ведущие к лесу, на безмолвную голубятню, на сломанные качели. Где-то спит спокойным сном автор злой шутки, в которой мы оба были повинны, а возможно, бодрствует и потешается надо мной, представляя, в какой я растерянности. Он считает, что он свободен, раз надел на себя мое платье. Здесь, в замке, страдают не мои – его родные, а ему безразлично, что с ними станет, какую жестокую боль им предстоит испытать.

Опять где-то рядом послышался тот же глухой звук, что потревожил меня в гардеробной, и я понял, что это стучат каштаны, падающие с деревьев на гравиевую дорожку за рвом. Ни туман, ни листопад, ни шелест дождя не сумели бы с такой бесповоротностью показать, что лету конец. В этом звуке воплотилась вся осень. Я поднял глаза на закрытые ставнями окна замка и спросил себя, в какой из двух башен спит графиня и где келья ее дочери Бланш. Надо мной была гардеробная, откуда совсем недавно я глядел сюда, а рядом – высокие окна спальни. Церковные часы пробили половину двенадцатого – пора отправляться в путь, я и так задержался среди этих чужих мне людей. Проходить мимо пса было слишком рискованно, он мог поднять на ноги весь дом, и я решил пройти по мосту, добраться по липовой аллее до дороги и идти по ней хоть всю ночь до ближайшего городка.

Здесь, у рва, не было деревьев, однако каштаны продолжали падать, один ударил меня по голове и отлетел на землю. Странно. Я взглянул наверх и заметил, что в башенке над гардеробной на подоконник узкого оконца влезла коленями какая-то фигура и смотрит вниз. Пока я вглядывался в нее, меня снова ударил по лбу каштан, рядом упал еще один, следом другой, кинутые той же

рукой: тот, кого я видел в окне, по какой-то причине хотел привлечь мое внимание. Внезапно фигура поднялась и встала ногами на наружный подоконник, и я разглядел, что это ребенок лет десяти в белой ночной рубашке. Одно неверное движение, и он полетит с высоты на землю. Я не мог различить, кто это: девочка или мальчик, не видел его лица, я видел лишь одно – опасность.

– Лезь назад, – сказал я. – Лезь обратно в комнату.

Фигура не шевельнулась. По голове ударил еще один каштан.

– Лезь назад, – снова сказал я. – Лезь назад, ты упадешь.

И тут ребенок заговорил, до меня ясно донесся высокий, абсолютно спокойный голос.

– Клянусь тебе, – сказал он, – что, если ты не придешь ко мне, пока я не досчитаю до ста, я выброшусь из окна.

Я стоял молча, голос донесся снова:

– Ты ведь знаешь, я всегда держу слово. Начинаю считать, и, если тебя не будет со мной здесь, когда я дойду до ста, клянусь Святой Девой, я сделаю это. Раз... два... три...

В памяти всплыли, вытесняя друг друга, слова «жар», «святые», «видения». Наконец-то до меня дошел смысл вечернего разговора в гостиной. Мне не приходило на ум, что набожная праведница Мари-Ноэль – ребенок. Голос продолжал считать, и я повернулся и кинулся через садовую дверцу на террасу, оттуда – к парадному входу; к счастью, дверь не была заперта. Ощупью поднялся на второй этаж и принялся вслепую искать, нет ли здесь черной лестницы, которая ведет прямо в башенку над гардеробной. Наконец обнаружил двустворчатую дверь и распахнул ее ногой – неважно, если меня услышат, если даже я подниму переполох. Я думал об одном: как предотвратить несчастье.

За дверью была винтовая лестница, освещенная тусклой синей лампочкой, и я кинулся по ней вверх, перескакивая через две ступени. Лестница привела меня на площадку, откуда изогнулся дугой еще один коридор, но прямо передо мной

была дверь, из-за которой донеслось: «...восемьдесят пять, восемьдесят шесть, восемьдесят семь...» Голос звучал спокойно и твердо. Я влетел в комнату, схватил в охапку стоявшую на подоконнике фигурку и бросил ее на кровать у стены.

Коротко остриженная девочка смотрела на меня неправдоподобно огромными глазами, и я почувствовал, что мне дурно, – передо мной была еще одна копия Жана де Ге, а следовательно, каким-то невообразимым образом того меня, который давно уже был погребен в прошлом.

– Почему ты не пришел пожелать мне доброй ночи, папа? – спросила она.

Глава 6

Она не дала мне времени подумать над ответом. Соскочив с кровати, она приникла ко мне, обвила шею руками, осыпала поцелуями.

– Сейчас же прекрати! Отпусти меня! – крикнул я, пытаюсь вырваться.

Она засмеялась, обхватив меня еще сильнее, как обезьянка, затем вдруг отскочила и перевернулась через голову обратно на постель. Не потеряв равновесия, она уселась, скрестив ноги, как портной, в изножье кровати и устремила на меня не улыбочивый взор. Я перевел дыхание и пригладил волосы. Мы пожирали друг друга глазами, как звереныши, готовые кинуться в бой.

– Ну? – сказала она; неизбежное «alors?»[20 - Итак; ну как? (фр.)] – вопрос, и восклицание, и ответ одновременно; и я повторил его вслед за ней, чтобы выиграть время и попытаться понять, насколько серьезна эта новая и неожиданная помеха – моя дочь. Затем, пытаюсь удержать позиции, сказал:

– Я думал, ты больна.

– А я и была больна... утром. Но когда тетя Бланш померила мне вечером температуру, она оказалась почти нормальной. Может быть, после того, как я стояла у окна, она снова подскочила. Сядь. – Она похлопала рукой по постели

рядом с собой. – Почему ты не пришел повидаться со мной сразу же, как вернулся?

Держалась она повелительно, как будто привыкла отдавать приказания. Я не ответил.

– Шутник, – небрежно проронила она. Затем протянула руку и, схватив мою, принялась ее целовать.

– Ты делал маникюр? – спросила она.

– Нет.

– У твоих ногтей другая форма и руки чище, чем всегда. Может быть, так влияет на людей Париж? Ты и пахнешь иначе.

– Как?

Она сморщила нос.

– Как доктор, – сказала она, – или священник, или незнакомый гость, которого пригласили к чаю.

– Очень жаль, – сказал я в полном замешательстве.

– Пройдет. Сразу видно, что ты вращался в высоких кругах... Что вы делали в гостинной – обсуждали меня, да?

Какое-то неосознанное чувство подсказало мне, что детей невредно порой одернуть.

– Нет, – ответил я.

– Неправда. Жермена сказала, за обедом только и разговору было что обо мне. Конечно, из-за того, что ты так долго не приезжал, они тоже подняли шум. Что ты делал?

Я решил говорить правду, когда смогу.

- Спал в отеле в Ле-Мане, - ответил я.

- Что тебе вздумалось? Ты очень устал?

- Я много выпил накануне и ударился головой об пол. И возможно, принял по ошибке снотворное.

- Если бы ты не выпил снотворное, ты бы уехал?

- Уехал? Куда? - спросил я.

- Куда-нибудь. И не вернулся бы, да?

- Я тебя не понимаю.

- Святая Дева сказала мне, что ты можешь не вернуться. Вот почему я заболела. - Вся ее повелительность исчезла. Она пристально смотрела на меня, не сводя глаз с моего лица. - Ты забыл, - добавила она, - в чем ты признался мне перед тем, как отправился в Париж?

- А в чем я тебе признался?

- Что когда-нибудь, если жизнь станет слишком трудной, ты просто исчезнешь и никогда не приедешь домой.

- Я забыл, что говорил это.

- Я не забыла. Когда дядя Поль и все остальные принялись толковать о том, как плохо у нас с деньгами, и о том, что ты поехал в Париж, чтобы попытаться все уладить, - но дядя Поль не очень-то надеялся на успех, - я подумала: вот самый подходящий момент, теперь-то папа это и сделает. Я проснулась ночью, мне было плохо, и тут пришла Святая Дева и встала у меня в ногах. Она была такая печальная...

Мне было трудно выдержать прямой взгляд детских глаз. Я посмотрел в сторону и, взяв с кровати потрепанного игрушечного кролика, принялся играть его единственным ухом.

- Что бы ты сделала, - спросил я, - если бы я не вернулся?

- Убила себя, - прозвучал ответ.

Я заставил кролика танцевать на простыне. У меня возникло смутное воспоминание, что давным-давно, в те дни, когда у меня еще были игрушки, это меня смешило. Но девочка не смеялась. Она взяла кролика у меня из рук и спрятала под подушку.

- Дети не убивают себя, - сказал я.

- Так почему ты так бежал сюда десять минут назад?

- Ты могла соскользнуть.

- Нет, не могла. Я держалась. Я часто так стою. Но если бы ты не пришел, это было бы другое дело. Я бы отпустила руку. Я бы прыгнула вниз и разбилась. И горела бы вечным пламенем в аду. Но лучше уж гореть в аду, чем жить в этом мире без тебя.

Я снова посмотрел на нее: маленькое овальное личико, коротко остриженные волосы, горящие глаза. Страстное признание потрясло и испугало меня, таких слов можно ожидать от фанатика, но от ребенка?.. Я изо всех сил старался найти подходящий ответ.

- Сколько тебе лет? - спросил я.

- Ты прекрасно знаешь, что в следующий день рождения мне будет одиннадцать.

- Прекрасно. Перед тобой еще вся твоя жизнь. У тебя есть мать, тети, бабушка, все, кто живет в замке. Они любят тебя. А ты болтаешь дикую чепуху о том, что бросишься в окно, если меня здесь не будет.

- Но я их не люблю, папа. Я люблю одного тебя.

Так-то вот. Мне страшно хотелось курить, и я механически стал шарить рукой в кармане. Заметив это, она соскочила с кровати, подбежала к небольшому бюро, стоявшему сбоку от окна, вынула из отделения коробок и, молниеносно вернувшись, протянула зажженную спичку.

- Скажи, - обратилась она ко мне, - правда, что корь опасна для еще не рожденных детей?

Такая резкая смена настроения была непостижима для меня.

- Мамап говорила, что, если я заболею корью и она от меня заразится и заразит маленького братца, он родится слепым.

- Не могу сказать. Я ничего в этих вещах не смыслю.

- Если маленький братец будет слепым, ты станешь его любить?

Куда девалась ее серьезность! Она принялась выделывать пируэты - сперва одной ногой, затем другой. Я понятия не имел, как ей ответить. Танцуя, она не спускала с меня глаз.

- Будет очень грустно, если малыш родится слепым, - сказал я, но она точно не слыхала.

- Вы отдали бы его в больницу? - спросила она.

- Нет, о нем заботились бы здесь, дома. Но так или иначе, нам это не грозит.

- Кто знает. Возможно, у меня и сейчас корь; если так, я, конечно, заразила мамап.

Я не мог не воспользоваться ее обмолвкой.

– Ты только что говорила, будто у тебя был жар, потому что ты боялась, вдруг я не вернусь домой, – поймал я ее на слове. – Ты и не упоминала о кори.

– У меня был жар, потому что ко мне спустилась Святая Дева. На меня снизошла Господня благодать.

Она перестала кружиться, легла в постель и прикрыла лицо простыней. Я стряхнул пепел в кукольное блюдце и оглядел комнату. Странное сочетание детской и кельи. Помимо того окна, из которого она обстреливала меня каштанами, в наружной стене было еще одно, узкое, окно, под ним – импровизированный аналой из ящика для упаковки, покрытого сверху куском старой парчи. Над ящиком висело распятие, украшенное четками, а на самом аналое между двумя свечами стояла статуэтка Божьей Матери. Рядом на стене висело изображение Святого Семейства и голова святой Терезы из Лизье; тут же, на скамеечке, сидела скособочившись тряпичная кукла с пятнами краски по всему телу и воткнутой в сердце спицей. На шее у нее была карточка со словами: «Святой Себастьян-мученик». Игрушки, более соответствующие ее возрасту, валялись на полу, а возле кровати стояла фотография Жана де Ге в форме, сделанная, судя по всему, задолго до ее рождения.

Я погасил окурок и встал. Фигура под одеялом не шевельнулась.

– Мари-Ноэль, обещай мне что-то.

Никакого ответа. Делает вид, что спит. Неважно.

– Обещай мне, что больше не будешь влезать на подоконник.

Молчание, а затем тихое царапанье; вот оно приостановилось, снова раздалось, теперь громче. Я догадался, что она скребет ногтями спинку кровати, подражая мышам или крысам. Из-под одеяла донесся громкий писк, она взбрыкнула ногой.

Давно забытые присловья, которыми взрослые выражают детям свое неодобрение, стали всплывать у меня в уме.

– Не умно и не смешно, – сказал я. – Если ты сейчас же мне не ответишь, я не пожелаю тебе доброй ночи.

Еще более громкий крысиный писк и яростное царапанье в ответ.

– Очень хорошо, – сказал я твердо и распахнул дверь. Чего я хотел добиться этим, один Бог знает, все козыри были в ее руках, ей достаточно было подойти снова к окну, чтобы это доказать.

Но, к моему облегчению, угроза подействовала. Девочка скинула простыню, села на постели и протянула ко мне руки. Я неохотно подошел.

– Я пообещаю, если ты тоже дашь мне обещание, – сказала она.

Это звучало разумно, но я чувствовал, что тут скрыта ловушка. Разобраться во всем этом мог разве Жан де Ге, не я. Я не понимаю детей.

– Что я должен обещать? – спросил я.

– Не уходить навсегда и не оставлять меня здесь, – сказала она. – А уж если должен будешь уйти – взять меня с собой.

И снова я не мог ответить на прямой вопрос в ее глазах. Я попал в немыслимое положение. Мне удалось успокоить мать, угодить жене. Перед дочерью я тоже должен сложить оружие?

– Послушай, – сказал я, – взрослые не могут связывать себя такими обещаниями. Кто знает, что нас ждет в будущем? Вдруг снова начнется война...

– Я не о войне говорю, – сказала она.

В ее голосе звучала странная, извечная мудрость. Хоть бы она была постарше или много моложе, вообще другая. Не тот у нее был возраст. Возможно, я отважился бы сказать правду подростку, но десятилетнему ребенку, еще не покинувшему тайный мир детства, – нет.

– Ну? – сказала она.

Вряд ли хоть один взрослый, ожидая решения своей судьбы, был бы так спокоен и серьезен. Я спрашивал себя, зачем Жану де Ге вообще понадобилось говорить

ей, что он может покинуть дом и исчезнуть. Угроза, чтобы добиться послушания, подобно фокусу, к которому минуту назад прибегнул я сам? Или он сделал это намеренно, чтобы заранее подготовить ее к тому, что может произойти?

- Бесполезно, - сказал я. - Этого я обещать не могу.

- Так я и думала, - сказала она. - Жизнь - тяжелая штука, да? Мы можем лишь надеяться на лучшее - что ты останешься дома и мне не придется умереть молодой.

То, как она это сказала - бесстрастно, смиренно, - было страшно. Уж лучше слезы. Она снова взяла мою руку и поцеловала ее. Я воспользовался моментом.

- Послушай, - начал я. - Я обещаю, если я действительно уйду, сказать об этом тебе первой. Возможно, я вообще никому не скажу, кроме тебя.

- Это честно, - кивнула Мари-Ноэль.

- Ну а теперь спать.

- Да, папа. У меня сползло одеяло. Поправь мне его, пожалуйста.

В ногах белье сбилось, и я заправил его под тюфяк, чтобы она не могла двинуться с места. Девочка, не сводя глаз, смотрела на меня. Видимо, ждала, что я ее поцелую.

- Доброй ночи, - сказал я. - Спи спокойно. - И поцеловал ее в щеку.

Она была худенькая, одни кости, маленькое лицо, тонкая шейка и огромные глаза.

- Ну и тощая ты, - сказал я. - Тебе надо побольше есть.

- Почему у тебя такой вид, будто тебе стыдно? - спросила она.

- Вовсе нет. Чего мне стыдиться?

– У тебя лицо человека, который лжет.

– Я постоянно лгу.

– Я знаю. Но, как правило, мне – нет.

– Ладно. На сегодня хватит. Спокойной ночи.

Я вышел и прикрыл за собой дверь. Постоял минутку, прислушиваясь, но изнутри не доносилось ни звука, и, спустившись по винтовой лестнице, я прошел коридором к гардеробной.

Внезапно я почувствовал, как я устал. В доме было тихо. Никто не проснулся от лая собаки или моего стремительного бега по лестницам. Я тихонько вошел в ванную и остановился на пороге спальни. Франсуаза не шевельнулась. Я подошел вплотную к кровати и по ее дыханию понял, что она крепко спит. Я вернулся в ванную, разделся и залез в ванну. Вода уже остыла, но я не хотел открывать горячий кран, боясь потревожить Франсуазу шумом. Вытеревшись, я надел пижаму, в которой спал в отеле, и халат, брошенный на спинку стула. Причесался, как и утром, чужими щетками и затем подошел к столу и взял пакет с инициалами «М-Н». По-видимому, книга. Я осторожно развязал ленточку, развернул обертку; да, это была книга, как я и думал. Называлась она «Маленький цветочек», и вместе с ней там была большая цветная литография с ярко раскрашенным изображением святой Терезы из Лизье, купленная отдельно и вложенная между страницами. На форзаце было написано: «Моей обожаемой Мари-Ноэль от всего сердца. Папа». Я снова завернул книгу и положил ее на стол вместе с остальными пакетами. Видно было, что Жан де Ге очень обдуманно выбирал подарки. Я не знал, что именно он привез матери, но что бы это ни было, она очень его ждала. Медальон осушил слезы жены и помог ей уснуть с возрожденной надеждой. Когда книга будет лежать раскрытой, а она обязательно будет, рядом с картиной на стене башенной комнатки, она даст новую пищу воображению ребенка, девочку станут посещать видения, она станет грезить наяву и, возможно, облегчит этим отцу укоры совести – если у него вообще есть совесть, в чем я сомневался. Я снова высунулся из окна; каштаны по-прежнему падали на гравиевую дорожку по ту сторону рва, от земли струйками поднимался туман, обволакивая темные деревья.

Никто не имеет права играть жизнью людей, нельзя вторгаться им в душу, потешаться над их чувствами. Твое слово, взгляд, улыбка, нахмуренные брови не проходят бесследно, они будят в другом человеке тот или иной отклик: приязнь или отвращение; ты плетешь паутину, у которой нет ни начала, ни конца, нити соединяются с другими нитями, переплетаются между собой так, что один ты вырваться из нее не можешь, твоя борьба, твоя свобода зависят от всех остальных.

Жан де Ге поступал неверно. Он бежал от жизни, он спасался от чувств, которые сам же и вызывал. Ни один человек под этим кровом не вел бы себя сегодня вечером так, как они себя вели, если бы не какой-то его прошлый поступок. Мать не глядела бы на меня испуганными глазами, сестра не ушла бы молча из комнаты, брат не был бы так враждебен, Рене не крикнула бы со ступеней, что она меня ненавидит, жена не плакала бы, дочь не угрожала бы выброситься из окна. Жан де Ге потерпел фиаско. Он был еще больший неудачник, чем я. Вот почему он оставил меня в отеле Ле-Мана и исчез. Это не было шуткой, это было признанием в крахе. Теперь я знал, что он не вернется. Он даже не потрудится узнать, что здесь произошло. Я могу покинуть его дом или остаться здесь – как мне угодно. Если бы я его не встретил, если бы не случилось всего того, что случилось, я в этот самый момент был бы уже в приюте для приезжих в монастыре траппистов, где я надеялся узнать, как пережить фиаско. Я присутствовал бы при вечерней службе монахов, вслед за ними произнес бы нараспев первую свою молитву. Теперь ничего этого не будет, я здесь один. Вернее, не один: я – часть жизни других людей. Никогда раньше меня не волновали чужие чувства, кроме собственных, если не считать исторических персонажей, которые давным-давно почилы вечным сном, – лишь их мысли и мотивы поступков представляли для меня интерес. Теперь у меня появилась возможность все изменить... при помощи обмана. Я сомневался, что ложь может пойти на благо. Вряд ли. Она ведет только к бедствиям, к войне, к несчастью... Но я ни в чем не был уверен. Если бы я тогда поехал к траппистам, я бы, возможно, знал, но вместо этого я – в чужом доме.

Я отвернулся от окна в гардеробной, вошел в спальню, снял халат и домашние туфли. Затем лег в постель рядом с его несчастной женой – она мирно спала, так и не отколов медальон от шали, – и сказал:

– О господи, что мне следует делать? Что правильней – уйти отсюда или остаться?

Ответа не было. Лишь вопросительный знак.

Глава 7

Я спал тяжелым сном, а когда проснулся, ставни были распахнуты настежь, комнату заливал дневной свет, на постели рядом со мной никого не было, из ванной доносились голоса. Я лежал неподвижно, заложив руки за голову и разглядывая все вокруг. Полосатые обои никак не гармонировали с деревянными панелями и тяжелой мебелью, которую, по-видимому, не сдвигали с места ни разу за последние пятьдесят лет. Яркие занавеси и украшенный рюшем туалетный столик в алькове – единственное, чем попытались придать комнате чуть более современный вид. Подушки на креслах, хотя тоже были в полоску, плохо сочетались с обоями по тону: красная полоса перемежалась розовой – это резало глаз, если долго смотреть.

Спальня служила также и будуаром: возле камина стояли чайный столик и небольшой секретер, рядом – горка с фарфором, в глубине – книжный шкаф. Однако, как ни странно, комната не казалась уютней, напротив, это придавало всему помещению какой-то казенный и официальный вид, словно перед вами была витрина мебельного магазина. Можно было подумать, что тот, кто все это здесь расставил, хотел окружить себя любимыми издавна вещами, но хотя те некогда прекрасно выглядели в другой обстановке, здесь, в этих стенах, они плохо вязались друг с другом.

Голоса умолкли, краны то открывались, то закрывались, в коридоре слышались шаги. Где-то хлопнула дверь, зазвонил телефон, взревел и замер вдали мотор машины, наступила тишина. Затем из коридора донеслось шварканье щетки – кто-то подметал пол. Сон оказал на меня странное действие. Я проснулся совсем в другом расположении духа. Мучительная боль, охватившая меня прошлой ночью, утихла. Обитатели замка вновь стали марионетками, я вновь смотрел на все как на шутку. Вчера вечером я был полон сострадания к ним и к себе, мне казалось, будто мне предначертано судьбой искупить все неудачи, постигшие их и меня в жизни. А сама жизнь казалась мне трагедией. Сон изменил мои представления о добре и зле. Я больше не чувствовал себя в ответе за Жана де Ге, все снова стало веселым, хоть и рискованным приключением. Какое мне дело, если даже Жан де Ге вырвался из-под власти

семьи и преступил свой моральный долг! Без сомнения, их можно винить в этом не меньше, чем его. Мое сегодняшнее «я» говорило, что вся эта фантастическая ситуация лишь продолжение моего отпуска и, как только она станет неуправляемой – а это рано или поздно случится, – я просто брошу все и уйду. Единственное, что мне грозило, если вообще грозило, – разоблачение – могло произойти только вчера. Но и мать, и жена, и дочь – все трое были введены в обман. Какой бы самый грубый промах я теперь ни допустил, его сочтут чудачеством или капризом по той простой причине, что я выше подозрений. Ни один шпион на службе государства не имел такой личины, не получал такой возможности проникать в души людей... если он этого хотел. А чего хочу я? Вчера вечером я хотел исцелять. Сегодня утром – забавляться. Почему бы не сочетать и то и другое?

Я взглянул наверх, на старомодный шнур от звонка, и дернул его. Шварканье щетки в коридоре замолкло. За дверью слышались шаги, раздался негромкий стук. Я крикнул: «Entrez!», и в дверях возникла та самая розовощекая горничная, что принесла мне накануне обед.

– Господин граф хорошо спали? – спросила она.

Я ответил, что превосходно, и попросил кофе. Затем поинтересовался, где все остальные, и узнал, что госпожа графиня souffrante[21 - Больна, плохо себя чувствует (фр.).] и еще в постели, мадемуазель в церкви, господин Поль уже уехал в verrerie[22 - Стекольная фабрика (фр.).], Мари-Ноэль встает, госпожа Жан и госпожа Поль в гостиной. Я поблагодарил ее, и она вышла. Я узнал три вещи из двухминутного разговора: мой подарок матери не помог; Поль вел семейное дело – стекольную фабрику; черноволосая Рене была его женой.

Я поднялся с постели, прошел в ванную и побрился.

Кофе в гардеробную мне принес Гастон. Вместо формы шофера на нем была полосатая куртка valet de chambre[23 - Камердинера (фр.).]. Я приветствовал его как старого друга.

– Значит, сегодня дела неплохи? – сказал он, ставя поднос с кофе на стол. – В гостях хорошо, а дома лучше, да?

Он спросил меня, что я надену, и я ответил: то, что он сам сочтет подходящим для утра. Ему это показалось забавным.

- Не платье красит утро, - сказал он, - а человек, который его надел. Сегодня господин граф сияет, как ясное солнышко.

Я выразил тревогу по поводу здоровья матери. Он сделал гримасу.

- Ну, вы же и сами знаете, господин граф, - сказал он, - как это бывает. В старости чувствуешь себя одиноким, тебе страшно, если у тебя нет тут, - он похлопал себя по груди, - крепкого стержня. Физически госпожа графиня крепче всех нас в Сен-Жиле, и умом она тоже крепка, а вот духом она ослабела.

Он подошел к гардеробу, вынул коричневую куртку из твида и принялся ее чистить.

Я пил кофе и смотрел на него. Я думал о том, что ждало бы меня сейчас, находишь я в гостиничном номере в Туре или Блуа, а на месте Гастона стоял бы дежурный valet de chambre. С безразличной любезностью, присущей персоналу отелей, он осведомился бы, понравился ли мне город и думаю ли я приехать на следующий год, и забыл бы меня, как только получил бы чаевые, швейцар снес бы вниз мой багаж, и бесхозные ключи заняли бы свое место в ячейке. А Гастон - мой друг, но, глядя на него, я чувствовал себя Иудой.

Я надел одежду, которую он достал, и меня охватило странное чувство, будто на мне платье умершего человека, который некогда был мне очень близок. В дорожном костюме, который я носил накануне, я этого не ощущал. Эта куртка имела свое лицо, от нее исходил, казалось, давно знакомый запах, резкий, но вовсе не неприятный; было видно, что ей приходилось бывать в лесу и под дождем, лежать на траве и голой земле, жариться у костра. Я почему-то подумал о жрецах давно минувших дней, которые во время ритуальных жертвоприношений надевали на себя шкуры убитых животных, чтобы сила и теплая кровь их жертв прибавляли им могущества.

- Господин граф поедет сейчас на фабрику? - спросил Гастон.

- Нет, - сказал я, - может быть, попоздней. Кто упоминал об этом - господин Поль?

– Господин Поль вернется, как всегда, ко второму завтраку. Возможно, он ждет, что вы поедете туда днем с ним вместе.

– Который час?

– Половина одиннадцатого, господин граф.

Я вышел из комнаты; Гастон занялся моей одеждой, рядом в спальне маленькая горничная стелила постель. Я спустился вниз; в холле меня встретил холодный дух мастики и огромный распятый Христос на стене. Из-за двери в гостиную приглушенно доносились женские голоса; не имея желаний туда заходить, я тихонько прокрался к двери на террасу, вышел наружу и завернул за угол к своему вчерашнему убежищу под кедром. Стоял золотой осенний денек, небо не слепило глаза голубизной, а мягко просвечивало сквозь полупрозрачную дымку, от земли поднималось влажное тепло; воздух был как бархат. Замок, прекрасный, безмятежный, отгороженный от внешнего мира старыми крепостными стенами вокруг высохшего рва, казался островом, стоящим особняком от деревни и церкви, липовой аллеи и песчаной дороги, островом, где люди жили по стародавним обычаям и законам и не имели никакого касательства ни к почтальону, который сейчас ехал на велосипеде мимо церкви за мостом, ни к высокому фургону с продуктами, подъезжающему к епископату[24 - Бакалея, бакалейная лавка (фр.).] на углу.

Кто-то пел возле прохода под аркой, ведущего к службам; свернув налево, чтобы не попасться на глаза псу, я увидел внизу женщину, стоявшую на коленях у небольшого углубления внизу стены, которое наполнялось водой из реки. Она стирала простыни на деревянной стиральной доске: во все стороны летели мыльные брызги. Увидев меня над собой, она откинула со лба пряди волос покрытой коричневыми пятнами рукой, улыбнулась и сказала: «*Bonjour, monsieur le comte*»[25 - Доброго здоровья, господин граф (фр.).].

Я нашел в стене дверь, за которой был узкий пешеходный мостик; пройдя через ров и повернув налево, мимо гаража и конюшни, я очутился среди коровников – солома, мокрая истоптанная земля, – за которыми был отделенный каменной стеной огород, занимавший акра три-четыре, а за ним до самой кромки леса – обработанные поля. Здесь, у коровника, стоял огромный, туго уложенный золотисто-коричневый стог, рядом громоздились одна на другую тыквы, гладкие и круглые, как попки младенцев, с розовой, лимонной и светло-зеленой мякотью,

а на самом верху груды лежали грабли и вилы и белая кошка, зажмурившаяся от солнца.

Внутри коровника полы были еще мокры после мытья, по желобу текла вода, а в воздухе стоял приятный запах свежего молока и навоза, впитавшийся в стены и деревянные стойла. Я повернул обратно, но тут из какой-то норы в конце коровника выползла старуха и, широко улыбаясь беззубым ртом, застучала сабо по направлению ко мне; на плечах ее лежало коромысло с пустыми ведрами, качавшимися в такт шагам.

– Bonjour, m’sieur le camte, – сказала она и продолжала что-то говорить, кивая и смеясь, но так быстро и невнятно, что ответить я не мог – ее сильный акцент и отсутствие зубов мешали мне ее понять.

Я ушел, махнув ей на прощание рукой, миновал гору яблок для сидра, готовых под пресс, и двинулся дальше мимо бесчисленных рядов свеклы с султанами багрово-зеленых листьев, все еще покрытых росой. Терпкий и влажный запах корнеплодов смешивался с ароматом сухих подсолнечников, полыни и стеблей малины. Наконец через другую дверь в другой стене я снова вышел к замку, туда, где росли каштаны, испещрившие песок дорожки золотисто-зеленым узором из опавших листьев. Здесь, в этом бывшем парке, тоже не было ничего парадного, голубятня стояла посреди пастбища для коров; пастбище тянулось до самого леса, а лесные дорожки расходились из одного центра, как тянутся во все стороны света тени от стержня солнечных часов. В центре этом на небольшой лужайке возвышалась покрытая лишайником статуя Артемиды – ее античное одеяние покрыто щербинами, правой руки нет совсем.

Я прошел до конца одну из этих длинных дорожек, чтобы издали посмотреть на замок. Передо мной было окаймленное рамой полотно: черно-синяя крыша, башенки, высокие трубы и стены из песчаника сжались до размеров иллюстрации к сказке; за этими стенами больше не было живых, чувствующих людей, я рассматривал картинку в детской книжке, холст на стенах галереи, на котором удержишь на миг взгляд из-за его красоты и тут же забудешь.

Я повернул обратно, мимо дующей в рог Охотницы, и, пройдя всю дорожку, вновь очутился у голубятни: она была забита сеном, но воркующие голуби не собирались ее покидать – они прихорашивались, красовались друг перед другом, с важным видом заходили внутрь через узкие оконца и вновь выходили, кланялись и распускали веером хвосты. Вдруг высокие окна гостиной

распахнулись, и на террасе появились Франсуаза и Рене; они замахали, увидев меня, а идущая между ними детская фигурка вырвалась вперед и с криком: «Папа!.. Папа!..» – пустилась бежать ко мне, не слушая матери, сердито велевшей ей вернуться. Промчавшись по пешеходному мостику через ров, она запрыгала по траве мне навстречу, а подлетев почти вплотную, стремительно взметнулась вверх, и я был вынужден поймать ее на лету, как балерину.

– Почему ты не поехал на фабрику? – спросила Мари-Ноэль, повиснув у меня на шее и трепля мне волосы. – Дяде Полю пришлось поехать одному, и он очень сердился.

– Я поздно лег спать... по твоей вине, – сказал я и поставил ее на землю. – Ты бы лучше шла в дом, я слышу, мама тебя зовет.

Девочка рассмеялась и, дернув меня за руку, потащила к качелям у голубятни.

– Я совсем здорова, – сказала она. – У меня сегодня ничего не болит. Ведь ты вернулся домой. Почини мне качели. Видишь, веревка лопнула.

Пока я неумело возился с качелями, Мари-Ноэль, не сводя с меня глаз, болтала ни о чем, задавала вопросы, не требующие ответа, а когда я наконец закрепил сиденье, встала на него и начала энергично раскачиваться; тонкие ноги под коротким клетчатый платьем, таким ярким, что рядом с ним ее личико казалось еще бледней, были пружинистые, как у обезьянки.

Я зашел ей за спину, чтобы сильнее ее раскачать, но через минуту она неожиданно сказала:

– Пошли.

И, рука в руке, мы двинулись бесцельно вперед; когда мы достигли дорожки, она принялась подбирать каштаны, но, набив ими кармашек, остальные кинула на землю.

– Мальчиков всегда любят больше, чем девочек? – ни с того ни с сего спросила она.

- Нет, не думаю. С чего бы их любить больше?

- Тетя Бланш говорит, что да, но зато святых мучениц больше, чем мучеников, а потому в райских куцах радость и ликование. Догоняй!

- Не хочу.

Она вприпрыжку побежала вперед, и, пройдя через садовую дверцу в стене, мы очутились на террасе перед замком, в том самом месте, где я был в эту ночь. Подняв глаза на окошечко в башенке, я увидел, как далеко было от подоконника до земли, и мне снова стало страшно. Девочка шла дальше, к конюшням и прочим службам, я за ней. Прыгнув на верх стены надо рвом, она осторожно пошла по ней среди сплетений плюща. Недалеко от прохода под аркой она спрыгнула на землю, и пес, спавший на солнце, потянулся и стал вилять хвостом; она открыла дверцу в загородке и выпустила его наружу. Увидев меня, пес залаял, а когда я крикнул: «Ко мне, что с тобой, дружище?» - он остался на месте, у ног Мари-Ноэль, словно охраняя ее, и продолжал на меня рычать.

- Перестань, Цезарь, - сказала девочка, дергая его за ошейник. - Ты что, вдруг ослеп? Не узнаешь хозяина?

Он снова завилял хвостом и лизнул ее руку, но ко мне не подошел, и я тоже остался на месте; внутренний голос говорил мне, что, стоит мне сделать один шаг, он опять зарычит, а мои попытки подружиться с ним скорее усилят его подозрения, чем успокоят их.

- оставь пса в покое, - сказал я. - Не распаляй его.

Мари-Ноэль отпустила ошейник, и пес, все еще тихонько рыча, вприпрыжку побежал ко мне, обнюхал и, равнодушно отвернувшись, помчался дальше, тыкаясь носом в плющ на стене.

- Он словно и не рад тебе. Такого еще не бывало. Может быть, он болен. Цезарь, ко мне! Цезарь, дай я пощупаю твой нос.

- Не трогай его, - сказал я. - Он здоров.

Я двинулся по направлению к дому, но пес не побежал за мной и растерянно стоял, глядя на девочку; Мари-Ноэль подошла к нему, погладила по широким бокам, пощупала нос.

Я перевел взгляд от замка на мост и деревню за мостом и увидел, что от церкви спускается вниз какая-то женщина и подходит к въездным воротам. Женщина была в черном, на голове – старомодная шляпка без полей, в руках молитвенник. Наверно, Бланш. Не глядя по сторонам, словно не замечая, что кругом ясный день, она шла, гордо выпрямившись, по гравиевой дорожке к ступеням парадного входа. И даже когда к ней подбежала Мари-Ноэль, ничто не дрогнуло в каменном лице, жесткие черты не смягчились.

– Цезарь рычал на папу, – крикнула девочка, – и был вовсе не рад его видеть! Этого никогда не бывало. Вы не думаете, что он заболел?

Бланш кинула взгляд на пса, который трусил к ней, виляя хвостом.

– Если никто не собирается взять собаку на прогулку, надо ее снова запереть, – сказала она, поднимаясь на террасу; поведение пса явно не встревожило ее. – А раз ты достаточно здорова, чтобы гулять, вполне можешь прийти ко мне заниматься.

– Мне сегодня необязательно заниматься, да, папа? – запротестовала девочка.

– Почему бы и нет? – сказал я, полагая, что этот ответ поможет мне снискать милость Бланш. – Спроси лучше маму, как она думает.

Словно не услышав моих слов, Бланш прошла мимо нас прямо в дом; казалось, я просто для нее не существую. Мари-Ноэль взяла меня за руку и сердито ее затрясла.

– Почему ты на меня сердишься? – спросила она.

– Я не сержусь.

– Нет, сердишься. Ты не хочешь со мной играть, и при чем тут татап, если я не стану сегодня заниматься?

– А кто же должен приказывать здесь – я?

Она вытаращила на меня глаза.

– Но ты всегда это делаешь! – сказала она.

– Прекрасно, – твердо сказал я. – В таком случае, если твоя тетя согласна потратить на тебя время, ты будешь сегодня заниматься. Это тебе не повредит. А теперь пойдем наверх, у меня что-то для тебя есть.

Мне вдруг пришло в голову, что гораздо проще будет раздать подарки во время ланча, когда все соберутся внизу за столом, а не вручать их порознь. Но девочке придется отдать подарок сейчас, чтобы задобрить ее, – она всерьез надулась на меня из-за того, что я велел ей заниматься.

Мари-Ноэль поднялась со мной в гардеробную, и я отдал ей сверток с книгой, взяв его со стола. Она нетерпеливо сорвала оберточную бумагу и, когда увидела, что внутри, вскрикнула от радости и прижала к себе книгу обеими руками.

– Как я о ней мечтала! – воскликнула она. – О, мой любимый, мой дорогой папочка, как ты всегда угадываешь, что мне нужно?

Не в силах сдержать восторг, она кинулась мне на грудь, и я снова подвергся ее детским ласкам: она обвила мою шею руками, терлась щекой о мою щеку и осыпала меня беспорядочными поцелуями. Но теперь я этого ждал и закружил ее по комнате; казалось, будто играешь со львенком или длинноногим щенком – любое молодое животное привлекает нас юностью и грацией движений. Я больше не чувствовал себя неловко, она пробудила во мне невольный отклик. Я дергал ее за волосы, щекотал сзади шейку, мы оба смеялись; ее естественность, ее доверие придавали мне смелости и уверенности в себе... и в ней. Знай это прелестное, льнущее ко мне существо, что я чужак, я вызвал бы у нее неприязнь и страх, она тут же замкнулась бы в себе, и тогда нас ничто не будет связывать, в лучшем случае я стану ей безразличен, как псу. Мысль о том, что этого не произойдет, поднимала во мне дух, вызывала ликование.

– Мне обязательно идти к тете Бланш? – спросила Мари-Ноэль, догадавшись, что у меня изменилось настроение, и желая обратить это себе на пользу.

- Не знаю, - ответил я, - решим это попозже.

Опустив ее на пол, я остался стоять у стола, глядя на остальные свертки.

- Я хочу тебе что-то сказать, - заговорил я, - я привез из Парижа подарки не только для тебя. Маме я отдал подарок вчера вечером, бабушке тоже. Давай отнесем те, что лежат здесь, в столовую, пусть все развернут их в столовой.

- Дяде Полю и тете Рене? - сказала она. - Зачем? Ведь у них нет дня рождения.

- Да, но дарить подарки - хорошо. Это показывает, что ты дорожишь человеком, ценишь его по заслугам. У меня есть подарок и для тети Бланш.

- Для тети Бланш? - Она смотрела на меня, раскрыв глаза от удивления.

- Да. А почему бы и нет?

- Но ты никогда ничего ей не даришь. Даже на Рождество и Новый год.

- Ну и что? А теперь подарю. Может быть, она станет от этого чуть добрее.

Девочка продолжала изумленно смотреть на меня. Затем принялась грызть ногти.

- Мне не нравится, как ты придумал - положить подарки внизу на столе. Слишком похоже на день рождения или другой праздник. У нас не случится ничего такого, о чем бы ты мне не сказал? - встревоженно спросила она.

- Что ты имеешь в виду?

- Сегодня не должен родиться мой братец?

- Конечно нет. Подарки не имеют к этому никакого отношения.

– Волхвы приносили подарки... Я знаю, что ты привез татап медальон, она приколола его к платью. Она сказала тете Рене, что медальон стоит кучу денег и с твоей стороны было гадко его покупать, но это показывает, как ты ее любишь.

– Что я тебе говорил? Нет ничего лучше, чем дарить людям подарки.

– Да, но не на виду у остальных, а каждому свой. Я рада, что мой «Маленький цветочек» не будет лежать в столовой. А что ты привез остальным?

– Сама увидишь.

Положив книжку на пол, Мари-Ноэль встала на четвереньки и раскрыла первую страницу. Я смутно вспомнил, что, в отличие от взрослых, дети читают, лежа животом на полу, рисуют стоя, а есть предпочитают на ходу. Я вдруг подумал, что надо бы подняться наверх, узнать, как чувствует себя графиня, и сказал Мари-Ноэль:

– Пойдем спросим, как здоровье бабушки, – но она продолжала читать и, не поднимая головы и не отрывая глаз от книжки, сказала:

– Шарлотта говорит, ее нельзя беспокоить.

Однако я пошел наверх со странной уверенностью, что я делаю все как надо.

Я без труда нашел дорогу на третий этаж и, пройдя по коридору, подошел к двери в его конце. Я постучал, но не получил ответа, не слышно было даже лая. Я осторожно приоткрыл дверь; в комнате было темно, ставни закрыты, портьеры задернуты. Я с трудом разглядел на кровати фигуру графини, прикрытую одеялом. Я подошел и посмотрел на нее. Она лежала на спине, подтянув простыню к подбородку, и тяжело дышала, на бледном лице – серовато-грязный отлив. В комнате было душно, пахло чем-то затхлым. Хотел бы я знать, насколько серьезно она больна, подумал я, и как это нехорошо со стороны Шарлотты оставлять ее без присмотра. Я не мог сказать, действительно ли она спит или лежит с закрытыми глазами, и я шепнул: «Вам что-нибудь нужно?» – но она не ответила. Тяжелое дыхание казалось жестким, мучительным. Я вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь, и в конце коридора столкнулся нос к носу с Шарлоттой.

– Как мама себя чувствует? – спросил я. – Я только что заглядывал к ней, но она меня не услышала.

В черных глазках женщины мелькнуло удивление.

– Она теперь будет спать часов до двух-трех, господин граф, – шепнула она.

– Доктор уже был? – спросил я.

– Доктор? – повторила она. – Нет, само собой.

– Но если она заболела, – сказал я, – будет разумней его позвать.

Женщина вытаращила на меня глаза.

– Кто вам сказал, что она больна? С ней все в порядке.

– Я понял со слов Гастона...

– Просто я, как обычно, велела передать на кухню, чтобы госпожу графиню не беспокоили.

Голос ее звучал обиженно, точно я несправедливо обвинил ее в какой-то оплошности, и я понял, что совершил ошибку, поднявшись сюда, чтобы осведомиться о здоровье ее пациентки, которая и больной-то не была, а просто спала.

– Должно быть, я не то услышал, – коротко сказал я, – мне показалось, он говорил, будто она заболела.

Повернувшись, я спустился вниз и пошел в гардеробную за подарками, которыми намеревался оделить своих ничего не подозревавших родственников. Мари-Ноэль все еще была здесь, ее так захватило чтение, что она заметила меня только тогда, когда я тронул ее носком туфли.

– Знаешь, папа, – сказала девочка, – святая Тереза была самым обыкновенным ребенком, вроде меня. В детстве в ней не замечали ничего особенного. Иногда она плохо себя вела и причиняла горе родителям. А затем Бог избрал ее своим орудием, чтобы принести утешение сотням и тысячам людей.

Я взял со стола свертки.

– Такие вещи нечасто случаются, – сказал я. – Святых редко когда встретишь.

– Она родилась в Алансоне, папа, это почти рядом с нами. Интересно, воздух здесь такой, что делает из человека святого, или человек сам должен для этого что-то сделать?

– Спроси лучше тетю.

– Спрашивала. Она говорит, просто молиться и поститься – еще недостаточно, но если ты действительно смиренен и чист сердцем, на тебя может вдруг, без предупреждения снизойти Божья благодать. Я чиста сердцем, папа?

– Сомневаюсь.

Я услышал, что к замку подъехала машина. Мари-Ноэль подбежала к окну и высунула голову.

– Дядя Поль, – сказала она. – Для него у тебя самый маленький подарок. Не хотела бы я быть на его месте. Но мужчины умеют скрывать свои чувства.

Мы, как заговорщики, спустились вниз, в столовую, где я еще не был, – длинная узкая комната налево от входа с окнами на террасу, – и я, схитрив, попросил девочку разложить подарки, что она сделала с явным удовольствием, забыв прежние сомнения. Во главе стола было, очевидно, мое место, так как оно осталось без подарка, а напротив, к моему удивлению, оказалось место Бланш, а не Франсуазы, как я думал; подарок Рене девочка положила рядом со мной, сверточек, предназначенный Полю, – рядом с Бланш, а свою книжку – с другой стороны от меня. Я пытался разгадать эту головоломку, но тут в столовую вошел Гастон, уже не в полосатой куртке, а во фраке, за ним – розовощекая Жермен и еще одна горничная, которую я раньше не видел; судя по полноте и кудрявым,

как у барашка, волосам, она была дочерью женщины, стиравшей белье у рва.

– Можете себе представить, Гастон, – сказала Мари-Ноэль, – папа привез всем подарки, даже тете Бланш. Это не потому, что у нас какой-нибудь праздник, просто в знак того, что папа ценит нас всех по заслугам.

Я заметил, как Гастон кинул на меня быстрый взгляд, и спросил себя, что в этом необычного – привезти из поездки подарки. Может быть, ему пришло в голову, что, покупая их, я был пьян? Спустя минуту он распахнул двойные двери в конце столовой, ведущие, как оказалось, в библиотеку, и объявил: «Госпоже графине подано!» Небольшая группа, открывшаяся моим глазам, могла сойти с жанровой картины, написанной в чопорной манере XVIII века. Франсуаза и Рене сидели поодаль друг от друга в высоких жестких креслах, одна – с книгой, другая – с вышиванием. Поль облокотился на спинку кресла своей жены, высокая темная фигура Бланш вырисовывалась на фоне задней двери. Все подняли головы, когда в комнату вошли мы с Мари-Ноэль.

– Папа приготовил вам сюрприз, – крикнула девочка, – но я не скажу какой!

Я подумал: будь сейчас на моем месте настоящий Жан де Ге, смог бы он увидеть их моими глазами, или родственная связь – ведь это была его семья, он составлял с нею единое целое – притупила бы остроту восприятия и их красноречивые позы ни о чем не говорили бы ему, казались бы естественными, отражали бы их прошлое и настоящее, известное ему, как никому иному. Я, чужак, был зрителем в театре, но в каком-то смысле я был также и режиссер: обстоятельства вынуждали их подчиняться мне, их поступки зависели от моих. Я был Мерлин, Просперо, а Мари-Ноэль – Ариэль, исполняющий мои приказания, посредник между двумя различными мирами. Я сразу же увидел страх на лицах Франсуазы и Рене, но выраженный в разной степени и, безусловно, вызванный разными причинами. На первом отразилась неуверенность, боязнь, как бы ей не причинили боль. На втором, настороженном и подозрительном, было видно не столько опасение, сколько недоверие. Поль, не скрывая неприязни, кинул на меня косой враждебный взгляд. Бланш, стоявшая у двери, не проявила вообще никакого интереса. Но я заметил, что она вся напряглась и посмотрела мимо меня на Мари-Ноэль.

– Что это, Жан? – спросила Франсуаза, поднимаясь с места.

– Ничего особенного, – сказал я. – Мари-Ноэль любит все окутывать тайной. Просто я привез вам по подарочку, и мы с ней положили их в столовой у ваших приборов.

Напряжение ослабло. Рене перевела дыхание. Поль пожал плечами. Франсуаза улыбнулась, дотронувшись до медальона, приколотого к кофточке.

– Боюсь, ты истратил в Париже слишком много денег, – сказала она. – Если ты и дальше будешь дарить мне такие подарки, у нас ничего не останется.

Она прошла в столовую, остальные за ней. Я сделал вид, будто завязываю шнурок, чтобы все остальные сели и я мог убедиться, что мое место действительно во главе стола. Так оно и оказалось, и я тоже сел. Наступила тишина, в то время как Бланш читала молитву, а мы сидели, склонив головы над тарелками. Я заметил, что Мари-Ноэль как зачарованная смотрит в конец комнаты на Бланш, а та не сводит взгляда со свертка возле салфетки. На ее обычно неподвижном лице изумление боролось с гадливостью и ужасом, словно перед ней была живая змея. Затем губы ее сжались, она овладела собой и, не глядя больше на подарок, взяла салфетку и положила себе на колени.

– Вы разве не развернете пакет? – спросила Мари-Ноэль.

Бланш не ответила. Она отломала кусок хлеба, лежавшего у ее тарелки, и тут я увидел, что все остальные глядят на меня так, точно произошло нечто небывалое. Может быть, что-нибудь – то, как я сел за стол, как держался, какой-нибудь невольный жест – наконец выдало меня и они догадались, что я обманщик?

– В чем дело? – сказал я. – Почему вы все на меня уставились?

Девочка, мой домашний ангел-хранитель, снова выручила меня.

– Все удивляются, что ты подарил подарок тете Бланш, – сказала она.

Вот оно что! Я вышел из образа. Но уличен пока не был.

– Вы же сами знаете, что я люблю тратить деньги, – громко сказал я, затем, вспомнив слова Жана де Ге в бистро в Ле-Мане и подумав о том, как тщательно он выбирал подарки, чтобы они пришлись по вкусу тем, кому он их купил, добавил: – Надеюсь, я привез каждому то, в чем он больше всего нуждается. Это входит в мою систему.

– Знаете, – сказала Мари-Ноэль, – папа подарил мне «Маленький цветочек» – житие святой Терезы из Лизье. А я хотела иметь эту книжку больше всего на свете. Наверяд ли папа подарил тете Бланш житие святой Терезы из Авила. Я щупала пакет, там не книга, он не той формы.

– Может быть, ты перестанешь болтать, – сказал я, – и начнешь есть. Развернуть подарки можно и попозже.

– Лично я хотел бы получить один-единственный подарок, – сказал Поль, – возобновленный контракт с Корвале, ну и неплохо бы еще в придачу чек на десять миллионов франков. Тебе, случайно, не удалось выполнить мое желание?

– Я бы сказал, что твой подарок тоже не той формы, – ответил я, – и я терпеть не могу говорить о делах во время еды. Однако охотно поеду с тобой днем на фабрику.

Ощущение собственной мощи было безграничным. Я ничего не знал ни о делах Жана де Ге, ни о контракте, но чувствовал, что сумел их провести, обман удался, так как все с аппетитом принялись за еду. Моя уверенность в себе росла с каждой минутой, и я кивнул Гастону, чтобы он налил мне вина. Я вспомнил, с каким успехом рассказывал матери о поездке в Париж, о театрах и встрече со старыми друзьями, и решил повторить свой рассказ; и точно так же, как вчера я получил от нее немало полезных сведений, сегодня мне удавалось то тут, то там ухватиться за путеводную нить. Постепенно я узнал, что во время войны Жан де Ге участвовал в движении Сопротивления, а Поль был в плену, что Жан де Ге и Франсуаза встретились и поженились сразу же после освобождения. Отдельные обрывки семейной истории мелькали передо мной, никак не связанные между собою. Факты, собранные по мелочам, еще надо было на досуге рассортировать и просеять, я все еще не имел понятия о том, что связывает между собой Жана де Ге, Поля и Рене, знал лишь, что эти двое – муж и жена и что Поль, по всей видимости, управляет или помогает управлять принадлежащей семье стекольной фабрикой. У Бланш ни в цвете волос и глаз, ни в чертах лица не было ничего общего с матерью, братом и племянницей, так поразительно похожими

друг на друга, а Рене и Поль, оба смуглые и черноволосые, вполне могли бы сойти за родственников, не будь мне известно, что это не так.

Бланш почти не участвовала в разговоре и ни разу за время еды не обратилась ко мне; помогала мне больше всех, как это ни странно, Франсуаза – главный источник моей информации. Жалобные нотки исчезли из ее голоса, она казалась счастливой, даже веселой, и я догадывался, что причиной тому был медальон, к которому она то и дело прикасалась. Я полагал, что Рене полностью завладеет разговором, но она сидела хмурая и почти не раскрывала рта, а когда Франсуаза спросила, как ее мигрень, ответила, что лучше ей не стало.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Шоссе первой категории (фр.).

2

Кафе (фр.).

3

Префектура (фр.).

4

Дорожная карта (фр.).

5

Прошу прощения (фр.).

6

Охота, травля (фр.).

7

Все удобства (фр.).

8

Войдите! (фр.)

9

Аптека (фр.).

10

Граф де Ге (фр.).

11

Сен-Жиль, Сарт (фр.).

12

Отель «Париж» (фр.).

13

«Се человек» – название картин, где Христос изображен в терновом венце.

14

Добрый вечер, господин граф (фр.).

15

Собор Парижской Богоматери (фр.).

16

До свидания, госпожа графиня, до свидания, господин граф, до свидания, мадемуазель Бланш, до свидания, Шарлотта (фр.).

17

Горничная (фр.).

18

Добрый вечер, господин граф (фр.).

19

Бог мой (фр.).

20

Итак; ну как? (фр.)

21

Больна, плохо себя чувствует (фр.).

22

Стекольная фабрика (фр.).

23

Камердинера (фр.).

24

Бакалея, бакалейная лавка (фр.).

25

Доброго здоровья, господин граф (фр.).

Купити: <https://telnovel.me/dafna-dyumore/kozel-otpuscheniya>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)